

Лао Шэ

ПОСЛЕДНЯЯ
МОНЕТА



Книга должна быть возвращена не
позже указанного здесь срока

Количество предыдущих выдач _____

--	--

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

*

ИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИ

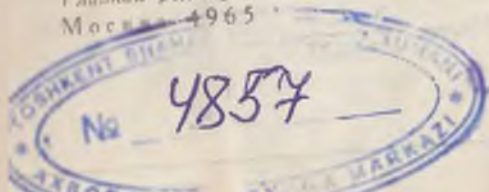
Лао Шэ

ПОСЛЕДНЯЯ МОНЕТА



РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Главная редакция восточной литературы
Москва 1965



Перевод с китайского

Ответственный редактор

В. Ф. Сорокин

Составитель

А. А. Файнгар



Индекс

7-3-4

735-65

50522

ПРЕДИСЛОВИЕ

Известный китайский писатель Лао Шэ родился в 1899 г. в Пекине. Он рано лишился отца, который погиб в дни подавления восстания ихэтуаней войсками иностранных империалистов. Почти шестьдесят лет спустя в предисловии к пьесе «Ихэтуань» писатель расскажет о своем трудном детстве и юности, а в самой пьесе — о борьбе китайского народа за национальную независимость.

Воспитанный с детства на классической китайской литературе, Лао Шэ, закончив училище, становится преподавателем родной литературы. Средневекковые романы и новеллы, стихи древних поэтов были его любимым чтением. Он часто слушает народных рассказчиков, этих своеобразных популяризаторов и, по выражению академика В. М. Алексеева, «демократизаторов» китайской идиомной словесности. Любовь к родному искусству Лао Шэ принесла через все свое творчество; не случайно он создавал произведения и издалека популярных литературных жанрах (например, свои под барабан и другие) в те годы, когда искусство в Китае стало важнейшим средством пробуждения народа, — в годы сопротивления японской агрессии. Использовал он эти жанры и впоследствии.

С юных лет Лао Шэ пристально всматривается в жизнь пекиньских городских низов — рикш и кули, всевозможных лоточников и мелких торговцев, занесенных дешевых чайных, ремесленников. Он испытывает к ним глубокую симпатию, искренне сочувствует им в их невзгодах. В будущем именно они станут его героями. В остроумной и глубокой по мысли исповеди (написанной писателем в расцвете сил) — книжке «Старый вол, разбитая телега» — Лао Шэ рассказывает о своих первых литературных

опытах — подражательных стихах и рассказах, предназначенных для студенческой стенной газеты, отнюдь не для печати. С присущей ему скромностью писатель отзывается об этих попытках как не заслуживающих внимания.

В 1924 г. Лао Шэ едет в Лондон и становится преподавателем в колледже восточных языков. Это событие во многом повлияло на его дальнейшую судьбу. При сопоставлении отсталого Китая с буржуазной Европой Лао Шэ испытывал боль за своих униженных соотечественников. Желание помочь им, тоска по родине, переживавшей в те годы глубокие потрясения гражданской войны и революции, тоска, которая рисовала в воображении зримые картины родной страны, — все это заставило его взяться за перо. Так родились первые (написанные в Лондоне) романы Лао Шэ: «Философия старины Чжана», «Чжао Цзы-юэ», «Двое Ма».

С их появлением в китайскую литературу вошел большой и своеобразный художник. Легче всего назвать его юмористом, труднее раскрыть истинное содержание смеха Лао Шэ. В первых романах Лао Шэ действительно много смешного, но это смешное далеко не всегда весело. То это комичная ситуация, напоминающая своей нелепостью эпизоды из «Записок Пикквикского клуба», то великолепная острота, подчас с игрой слов, то — и это чаще всего — невеселая и даже горькая ирония, близкая лусиневской. И в самом деле — много ли смешного в нелепостях, какие творит в Лондоне старый китаец, эпоха которого ушла в прошлое, или в поведении китайца-преподавателя, пытающегося копировать «американский» образ жизни?

Мир бездельников, пустословов, сводников, лжеученых, не приспособленных к новой жизни людей, живущих понятиями тысячелетней давности, изобразил Лао Шэ в своих первых романах. Социальное значение писательского юмора в этих романах состояло в том, что он должен был вызвать у читателей горькое чувство отвращения и нетерпимости к нелепостям китайской действительности на рубеже старого и нового мира.

Ранние романы Лао Шэ и все дальнейшие произведения писателя отличает чистый разговорный язык. Литературный язык в старом Китае был очень далек от разговорного. Когда Лао Шэ писал первый роман, со времени «литературной революции» прошло каких-нибудь пять-шесть лет. И тем не менее человек, воспитанный на классике, с легкостью (со слов писателя мы, правда, знаем, что это было нелегко) оперировал чистым разговорным языком, а ведь до него это мало кому удавалось. Он пишет на пекинском

диалектов, его герои — представители специфических общественных слоев и профессий — пользуются жаргоном и местным говором. И это несколько не нарушает общей стройности произведения. Фриза у Лао Шэ всегда отточенно-изысканна, грамматически проста и прозрачна по мысли. Его не спутаешь с другим писателем, у него свой стиль большого мастера слова.

Искусство Лао Шэ — романиста достигает вершины в романе «Рикша» (1936). Писателю удалось создать потрясающе выразительную картину крушения индивидуалистических иллюзий героя — молодого китайского парня, пытавшегося занять достойное место в обществе исключительно силой своих мускулов. В последних строках первого издания книги Лао Шэ говорит о крахе всех личностных стремлений героя, по выражению автора, — «продукта социальной болезни». Критический пафос романа необычайно силен: это «погребальный звон» буржуазному обществу, растаптываемому человеком, приговор суровый и гневный. И, думается, вряд ли выиграла книга от искусственной переработки финала для нового издания (1951 г.), когда писатель попытался оставить какой-то выход своему герою. «Счастливчик» (прозвище героя книги) обречен, обречен так же, как и весь уклад старого китайского общества, и положительный смысл «Рикши» именно и состоит в силе отрицания.

Агрессивная война японского империализма против Китая (1937—1945 гг.) заставила Лао Шэ серьезно задуматься над ролью писателя в это напряженное время. Он включается в общественную деятельность, направленную на сплочение всех литературных сил, становится председателем Ассоциации работников литературы и искусства, сформировавшихся для отпора японской агрессии, редактором журнала «Литература антияпонской войны» и, как всегда, много пишет. В годы войны Лао Шэ написал роман «Гибель и спасение», посвященный о подвиге китайских солдат и офицеров, прообразивших и захваченный врагом город, несколько пьес, проникнутых духом сплочения всех патриотов Китая перед агрессорами и разоблачения гоминьдановской коррупции; два сборника рассказов, а также ряд произведений в традиционных, популярных жанрах.

Теме войны посвящена и написанная уже после ее окончания незавершенная трилогия-эпопея «Четыре поколения» — о жизни оккупированного японцами Пекина.

Для Лао Шэ не существовало вопроса: писать или не писать о войне (хотя такой вопрос стал даже темой литературных спо-

ров). Нужно писать, говорить о бедствиях, которые война несет народу, отдавать все силы борьбе за мир. Поступать иначе — «значит не иметь смелости взглянуть в лицо действительности и правде и уповать лишь на то, что мир нам принесет Будда. Наше перо должно сражаться, но не для пропаганды войны, не для ее воспевания, а для постижения истины с целью уничтожения войны», — говорит Лао Шэ. В этих словах, конечно, нет и тени пацифизма, это смелая гражданская позиция писателя-патриота.

В 1946 г. Лао Шэ уезжает в США, где издает на английском языке романы «Развод» и «Рикша».

После победы китайской революции Лао Шэ сразу же возвращается на родину. Признанный и горячо любимый народный писатель продолжает энергичную общественную и творческую деятельность. Видимо, испытывая потребность обращаться к возможно более широкой аудитории, он переходит к драматургическому жанру. Столкновение старого и нового в жизни — по-прежнему основное содержание его произведений. Писатель приветствует новую жизнь, начавшуюся с освобождением страны. Его герои находят свое счастье в служении народу, идеи коллективизма приходят на смену разобщению людей и их безразличию друг к другу, чувство новой, небывалой ответственности перед обществом движет героями Лао Шэ.

Эта тенденция (смысл ее составляет утверждение социалистического мировоззрения) выразилась в пьесах «Фан Чжэн-чжу», «Лунсуйгоу» и др. Сложная, многоплановая драма «Чайная» явилась своего рода итогом раздумий Лао Шэ над жизнью старого Китая. Большой художник посвящает свое творчество служению народу, в трудной и сложной борьбе строящему новую жизнь, — это закономерный итог идейного и художественного развития писателя.

* *

*

Писать рассказы Лао Шэ стал, уже будучи известным романистом. Роман всегда был любимым жанром писателя, и, закончив рассказ, он не раз сожалел, что «его материала хватило бы на целый роман». Однако «литература, — шутит Лао Шэ, — не откорм свиней, когда действует принцип: чем больше, тем лучше». Лакоичность, скупость изобразительных средств, основанные на предельной концентрации мысли, позволили Лао Шэ стать крупнейшим новеллистом в современной литературе Китая. Конечно, жаль,

что рукопись одного из романов писателя сгорела во время бомбардировки Шанхая японцами, но если бы этого не случилось, мы читали бы написанного по его мотивам рассказа «Сери луны», прекрасной шедевра мировой литературы. Жаль, что писатель так и не создал «рыцарский», по его собственному выражению, роман, но повесть «Раздвоенное копьё» — конфликт ее должен был лечь в основу романа, — миленькое и в то же время удивительно емкое произведение искусства, запоминается надолго.

И вот три персонажа разыграли в этом рассказе истинную трагедию. Незначительное событие — один боец побеждает другого — вот на сущесту весь сюжет. Две-три реплики, которыми обмениваются герои. Несколько фраз от автора. Но за всем этим скрывается целая эпоха китайской истории. Перед читателем оживает картина старинного Китая: храмовый праздник с фокусниками и акробатами, несомнящиеся удары гонга, телохранители знатных господ, сооруженные пиками, разукрашенными цветными кисточками, тельцеобразные обряды, установившиеся обряды.. Впечатление, как от сюжета старинной китайской живописи, на котором прилежная кисть художника запечатлела целую страну, занятия горожан, ритмы атмосферы жизни. Но вдруг что-то потревожило это, казалось, навеки застывшее общество. Наступило новое время, время стрельбы из оружия и железных дорог, «разрезавших могилы предков». Это время застало врасплох жителей страны, изображенной на тельцеобразном сюжете художника. Нужно ли теперь кому-нибудь старое или мир искусства рыцаря с пикой — Дон-Кихота, чудом выжившего в XX столетии? Эту трагедию переживает старинный, разоблаченный от вынужденного безделья боец; он никому не передаст своего мастерства, оно умрет вместе с ним, как умерла эта эпоха.

Полностью историчным проникнут и рассказ «Старая фирма». Но и эти рассказы Лао Шэ отнюдь нет аллегорических мотивов typical for старому Китаю. Писателя привлекает человеческий характер, трагедия которого он раскрывает с редкой психологической глубиной и достоверностью.

Историчности развертывается действие в рассказе «Поезд». Эта невероятная замедленность нужна писателю, чтобы в неожиданной концовке интриги читателя трагизмом катастрофы. Но проща ли это страшный эпизод, который писатель случайно решил запечатлеть на бумаге? В рассказе «Простая причина» — снова та же историчность и медлительность. Писатель смотрит на изображаемое события будто со стороны и констатирует их. Оба

рассказа созданы по ирреальным японской войны. И в том и в другом говорится об обществе, которое равнодушно допускает преступления и считает их неизбежными, не заслуживающими внимания. О людях, для которых существует только личное преуспеяние, о той, по сути рабской, иерархии, которая еще в начале XX в. потрясла Лу Синя, увлеченного толпой, бесстрастно главенствующую на казни своего соотечественника Ряня не бичуют эти рассказы разложившийся гоминьдановский Китай продажных политиканов и сдающихся без боя генералов?

И даже в рассказе «Доброе начало», таком смешном и веселом, звучит критическая нота, столь свойственная лучшим произведениям писателя.

* * *

Советский читатель уже знаком с творчеством Лао Шэ. В 1944 г. в сборник китайских новелл, выпущенный Государственным издательством художественной литературы, был включен один из патриотических рассказов Лао Шэ, написанных в разгар войны против японских агрессоров. В последующие годы на русском языке были опубликованы его роман «Рикша», сборники рассказов, пьесы, двухтомник избранных произведений*.

Публикуемые рассказы взяты из сборников «В спешке», «Вишни и море», «Креветки и водоросли», «Восточное море и горы Башань», изданных еще в тридцатых-сороковых годах. Но и сейчас читатель найдет в них близкое своему уму и сердцу. Творчество Лао Шэ отличают гуманизм и психологическая глубина. Не случайно поэтому Лао Шэ, запечатлевший в своих книгах родную страну и характер ее людей, стал одним из всемирно известных современных китайских писателей. Его произведения переведены на многие языки мира. Лао Шэ — крупнейший китайский писатель старшего поколения, впитавший в себя культуру своего народа, развивающий ее славные демократические традиции.

А. А. Файнгар

* См. книги Лао Шэ: Лунсюйгоу, М., 1954; Рассказы, М., 1954; Рассказы, пьесы, статьи, М., 1956; Рикша, М., 1956; Сочинения. В двух томах, М., 1957; Фан Чжэнь-чжу, М., 1958; Счастье всей семьи, М., 1961.

УДАЧНЫЙ ПОЧИН

Скопив денег, мы с Ваном и Цю решили открыть собственную больницу. Желу Вана сделали старшей сестрой — как-никак, это не простая сиделка, а почти докторша! Тестю Цю поручили бухгалтерию и делопроизводство. Мы с Ваном все рассчитали: если достопочтенный тесть представит липовый отчет или удерет, прихватив денежки, мы спустим шкуру с Цю — он у нас считался заложником. Собственно, затеяли-то все мы с Ваном, Цю примкнул позднее, и за ним нужен был глаз да глаз. Когда ведешь дела, всегда приходится делиться на партии и следить друг за другом, иначе прогоришь. В случае чего нас вместе с мадам Ван было трое против одного. Конечно, на помощь Цю мог прийти тесть, но он был уже стар — мадам Ван одна легко выдрала бы ему бороду. Вообще-то говоря, Цю был малый способный, только вот его коварство... Он был специалистом по геморрою, поэтому мы, собственно, его и пригласили; по, понятно, если бы дошло до драки, мы бы с ним церемониться не стали.

Я взял на себя внутренние болезни, Ван — венерические, Цю специализировался на геморрое и хирургии, госпожа Ван была старшей сестрой и по совместительству старшей акушеркой — итого было четыре отделения. Честно говоря, с отделением по внутренним болезням дела у нас обстояли неважно: оборудовали его кое-как — с бору по сосенке, да и больших доходов от него не предвиделось. Все надежды возлагались на Вана и Цю. Мы же с госпожой Ван были как бы придатком. Она ведь не была медиком, только что имела кое-какой

опыт по части деторождения — потому что сама дважды рожала. Что до ее акушерского искусства, то уж моя-то жена в случае чего, безусловно, постарается обойтись без ее услуг. Однако родильное отделение нам было необходимо: оно могло стать самым доходным. При нормальных родах роженицу можно будет продержать в больнице самое меньшее дней десять, а то и полмесяца, кормить жидкой кашей и рисовым отваром и за каждый день брать деньги. При неудачных — будем поступать смотря по обстоятельствам. Во всяком случае какой-нибудь выход из положения всегда найдется.

Мы приступили к делу. Объявление об открытии «Общедоступной больницы» было напечатано в газетах еще полмесяца назад. Название больницы, казалось, было выбрано удачно — в наше время, если хочешь заниматься доходным делом, нельзя забывать о массах. Если не брать денег с масс, то с кого же их брать? Разумеется, в объявлении мы этого не говорили: массы не любят, когда им говорят правду; мы просто писали: «Жертвуя собою для блага народа, радея о благополучии сограждан... Сочетание последнего слова науки с полной доступностью... Лечение методами китайской и западной медицины. Никаких классовых барьеров...».

На объявление пришлось потратиться порядком — даже пожертвовать частью основного капитала. Но надо было еще как-то усилить впечатление. По объявлению трудно судить о размерах больницы — мы приложили фото с изображением трехэтажного здания: сфотографировали расположенную по соседству транспортную контору. В нашем же распоряжении был только одноэтажный домишко с шестью комнатушками.

Больница открылась. Целую неделю мы принимали больных у себя и ходили на дом — действительно, «массы» к нам так и повалили. Пациентам почище я давал от любых болезней разноцветные содовые растворы, рассчитывая уже через недельку-другую возместить убытки. «Массам» подлинным и чистокровным не давал даже соды, а предлагал пойти домой умыться — если грязная рожа, то и лекарство не поможет.

Наконец в один из вечеров, провозившись весь день с больными, мы устроили экстренное совещание: работа

с массажами явно себя не оправдывала, надо было найти способ привлечь другую клиентуру. Мы уже раскаивались: больницу, конечно, не следовало называть «Общедоступной». На одних массажах, без состоятельных пациентов, не разбогатеешь. Знали бы раньше, сразу назвали бы свое заведение «Больницей для привилегированных». Столько раз Цю окунал свой нож в дистиллированную воду — и хотя бы один гемморойик! Да и какой же порядочный больной согласится пойти в «Общедоступную больницу»?

Ван предложил нанять завтра машину и каждому по очереди съездить на ней несколько раз, прихватывая с собой на обратном пути кто вторую бабушку, кто третью тетюшку *. Машина въезжает во двор, выбегают сиделки, поддерживают больную под руки. Так надо проделать раз тридцать-сорок. Это, несомненно, произведет впечатление на соседей.

Это произвело впечатление и на нас.

— А еще, — продолжал Ван, — надо нанять несколько машин, которые не могут ездить.

— Зачем? — поинтересовался я.

— Мы договоримся с хозяевами гаражей, чтобы нам одолжили несколько машин, находящихся в ремонте, и поставим их на целый день у ворот. И гудеть будем почаще. А большие, то и дело слыша с улицы гудки, пускай потом рассказывают, как много клиентов проезжает к нам на автомобилях. Да и прохожие, видя день-деньской стадо машин перед воротами больницы, проникнутся к ней должным почтением.

Сказано — сделано. Весь следующий день мы принимали родственников, поили их чаем и увозили обратно. Обе наши сиделки кидались навстречу гостям, целый день бегали взад и вперед. Машины, которые не могли двигаться, но могли гудеть, были доставлены на рассвете. Они гудели по очереди — пять минут каждая; с восходом солнца их окружили толпы мальчишек. Мы сфотографировали весь автоотряд и отослали снимки в вечерние газеты. Тесть Цю сочинил торжественную

* В Китае нередко употребляются при обозначении родства порядковые числительные.

надпись в старинном стиле, где пространно описал эту величественную картину... В тот вечер мы не ужинали: от непрерывных гудков у всех кружилась голова.

Ну что за умница этот Ван! Наутро, едва открыли ворота, смотрим, стоит машина: приехал сфицер. Ван, спеша навстречу, забыл про низкую дверь — и на голове у него вскочила шишка. Так и есть: венерик. Тут уж Ван забыл про боль, лицо его расцвело, словно роза: ради этого стоило набить и десяток шишек.

Больному нужно было сделать укол. Сиделки растегнули на офицере мундир, их белые ручки поддерживали его за руки, подошла госпожа Ван, пухлым указательным пальчиком дважды легонько отметила нужную точку, и Ван сделал укол. Клиент явно ничего не смыслил в медицине, только приговаривал, поглядывая на сиделок:

— Отлично, отлично!

Я тихонько посоветовал Вану сделать еще один укол. Цю тоже сообразил, что надо ковать железо, пока горячо, и уже приготовил препарат для инъекции — бросил в жасминовый чай щепотку соли. Ван приказал сиделкам взять офицера за руки, снова подошла госпожа Ван и пухлым пальчиком отметила нужное место, а Ван сделал укол. Офицер продолжал приговаривать:

— Отлично, отлично!

Тогда Ван, уже по собственному почину, вкатил ему порцию лунцзинского чаю. У нас в больнице знали толк в чае и всегда заваривали лунцзинский и жасминовый *. Всего за два чайных укола и за первый укол мы взяли с офицера двадцать пять юаней **. Собственно, каждый укол стоил десять юаней, но за три мы сделали скидку в пять юаней. Пациенту мы сказали, что надо прийти еще — десяти уколов будет достаточно, чтобы искоренить болезнь с полной гарантией. «Чаю-то у нас во всяком случае на это хватит», — подумал я.

Офицер расплатился, но уходить ему не хотелось. и мы с Ваном принялись занимать его разговорами. Я

* Лунцзинский и жасминовый чай — дорогие сорта китайского чая.

** Юань — основная денежная единица в Китае.

похвалил клиента за то, что он не стал скрывать своей болезни — уж если подхватил, так скорей лечись, приходи к нам — полная гарантия, что никакой опасности не будет. Сифилис — болезнь великих людей, стыдиться тут нечего: если заболел, надо лечиться, сделаешь несколько уколов — и все как рукой снимет. А если бояться и скрывать, если, как мелкие приказчики из лавчонок или школьники, исподтишка — по объявлениям в общественных уборных — искать какого-нибудь знахаря или покупать из-под полы лекарства, то это до добра не доведет. Офицер со всем соглашался, говорил, что побывал в больницах уже больше двадцати раз, но никогда еще не испытывал такого облегчения, как сегодня.

Когда я иссяк, в разговор включился Ван и заявил, что сифилис и болезнью-то считать нельзя: достаточно самому время от времени делать уколы. Офицер и с этим согласился и даже сослался на себя: сколько раз, не дожидаясь полного выздоровления, он снова пускался в погоню за удовольствиями — в случае чего сделаешь еще несколько уколов, и все с рук сходит. Ван встретил эти слова с одобрением и немедленно закинул удочку: если клиент собирается делать уколы длительное время, плату за лекарство можно уменьшить вдвое — всего пять юаней за укол. Можно сразу же договориться на месяц вперед — сто юаней все удовольствие, и колись себе на здоровье. Офицер был согласен на все. Единственное его условие заключалось в том, чтобы лекарство всегда было такого же отменного качества, как сегодня. А мы лишь кивали в ответ, улыбаясь про себя.

Не успела уехать машина с офицером, как подкатила новая; четыре служанки помогли выйти хозяйке. Сойдя с машины, вся пятерка в один голос осведомилась, есть ли отдельное помещение. Оттолкнув служанку, я бережно подхватил хозяйку под локоток и помог ей войти во дворик. Указав на здание транспортной конторы, я сказал:

— Там все отдельные помещения заняты, но вы приехали как нельзя более кстати: вот здесь — я показал на наши каморки — еще остались две первоклассные комнаты, вы можете временно устроиться в них. По правде говоря, здесь вам будет даже удобнее, чем в большом

здании: не надо бегать вверх-вниз по лестнице, не правда ли, уважаемая госпожа?

После первых же слов старой госпожи у меня расцвело на душе.

— Ну вот, сразу видно настоящего врача — зачем же в больницу ходить, если не для удобства и облегчения? А эта шайка из «Восточной Жизни» — просто выродки какие-то!

— Уважаемая госпожа лечилась в «Восточной Жизни»? — изумился я.

— Только что оттуда, черт бы побрал этих ублюдков!

Пока она бранила «Восточную Жизнь» (самую большую и лучшую больницу в городе), я провел ее в одну из наших комнатушек: я знал, что, если мне не удастся отвлечь внимание пациентки, она ни за что не останется в этой конуре.

— Сколько дней вы там пробыли? — спросил я.

— Два дня; еще немного, и пришлось бы ноги протянуть! — старая госпожа присела на койку.

Я уперся ногой в край койки — они у нас неплохие, но немного староваты, то и дело падают.

— Почему же вы поехали туда? — я боялся закрыть рот, иначе старая госпожа непременно обратила бы внимание на мою ногу.

— Ох, молчи! Слышать о них спокойно не могу! Ты, доктор, только послушай: у меня желудок больной, так они мне есть не давали! — На глазах старой госпожи блеснули слезы.

— Есть не давали? — мои глаза округлились. — Морить голодом при больном желудке? Коновалы! Забыть про ваш возраст! Всдь почтенной госпоже, наверняка, все восемьдесят?

Слезы старухи мгновенно высохли, она слегка улыбнулась:

— Чуть поменьше. Недавно стукнуло пятьдесят восемь.

— Надо же! Совсем как моей матери. Она, между прочим, тоже страдала расстройством желудка! — Я прикрыл глаза рукой. — Пусть уважаемая госпожа побудет у нас — и я непременно излечу этот недуг. При такой

болели хорошее питание — это все. Ешь все, что хочешь. После еды на душе сразу легче становится — и болячка идет на убыль, не правда ли, уважаемая госпожа?

На глазах старухи снова блеснули слезы — на этот раз от набытка чувств.

— Ты только послушай, доктор, я жидкого терпеть не могу, так они меня нарочно рисовым отваром поили, видно, чтоб только из себя вывести.

— У нас отличные зубы, — заметил я солидно, — напротив, вам следует есть больше мяса и овощей!

— Мне есть то и дело хочется, а они не разрешают: время, мол, еще не пришло!

— Дурачье!

— А то ночью — только, бывало, заснешь — пихают тебе в рот палочку стеклянную — «градусы» какие-то мерят.

— Ненежды!

— Горшок ночной попросишь, а сиделка говорит: «Погоди, сейчас врач придет, вот закончит осмотр, тогда и подам!».

— Низкая тиары!

— На койке едва-едва, бывало, приподымешься, сядешь, а сиделка гонорит: ложись!

— Ну и гадюка!

Чем больше мы беседовали со старухой, тем больше нравились друг другу. Теперь она, наверное, не уйдет бы, даже если бы комнаты оказались еще меньше. С облегчением облегчением и убрал ногу из-под койки — еда и упадет, старуха, наверняка, простит.

— У нас тоже есть сиделки? — спросила старая госпожа.

— Есть, но это не имеет значения, — сказал я, смеясь, — ведь вы привезли с собой четырех служанок? Ну и пускай себе живут в больнице. Они будут, конечно, добротнее ухаживать за вами, а сиделок я, уж так и быть, послать сюда не буду — хорошо?

— Чего же лучше! А помещение для них найдется? — старухе было даже как будто неловко.

— Помещение есть — ведь вы же, наверное, снимете весь этот дворик? Можете взять с собой и повара —

Майна Qurilish Kasb - hukmat kolleji
Axboro'at resurs markazi
№ 687

22707

ТОШКЕНТ
№ 7585
FEBRUARY 1985

кушайте себе на здоровье все, что вам нравится. Деньги я буду брать только с вас, служанки и повар могут жить бесплатно, а с вас — пятьдесят юаней в день.

Старуха вздохнула:

— Сколько платить — неважно, пятьдесят так пятьдесят. Чунь-сян, поди домой позови повара да скажи, пусть прихватит пару уток.

Я уже раскисался: почему я потребовал только пятьдесят юаней? Мне хотелось дать себе по физиономии! К счастью, я еще ничего не успел сказать о плате за лекарства — уж на этом-то я отыграюсь сполна, пока же нужно все как следует прикинуть — сынок у этой дамы, надо полагать, не меньше как дивизионный командир. А так как она собирается каждый день есть жареных уток, то едва ли скоро отсюда выберется, в общем поживем — увидим.

Больница приобрела надлежащий вид: четыре служанки носились как угорелые, во дворе, возле стены, повар соорудил печь — как будто в доме готовились к свадьбе. Мы, не стесняясь, когда вздумается, пробовали старухины фрукты, съели по нескольку кусков от каждой утки. За все время никому и в голову не пришло заняться лечением больной, всех интересовало одно: не купили ли ей опять чего-нибудь вкусного.

В общем, как бы там ни было, а мы с Ваном уже сделали почин, и только Цю ходил как неприкаянный. Он не расставался со своим ножом — я очень боялся, как бы Цю не испробовал его на мне, и старался не попадаться ему на глаза. Ван время от времени уговаривал его не волноваться, но Цю не мог примириться с мыслью, что еще ничего не заработал для больницы.

И вот, только мы отобедали — клиент! Страдает геммороем, нужна срочная операция! Толстяк, лет сорока с лишним, с большим животом. Госпожа Ван даже приняла его за роженицу и, только рассмотрев, что это мужчина, уступила пациента Цю. Глаза Цю загорелись. Переговоры были недолги, и нож нашего хирурга принялся за дело. Толстяк визжал от боли и умолял дать ему наркоз.

— Насчет наркоза уговору не было! — отвечал Цю. — Можно и под наркозом, если дашь еще десять

шаной. Ну так как, под наркозом или без? Только быстро!

Томстик не посмел отказаться, и Цю дал ему наркоз. Ниное движение ножом, и опять остановка:

— Послушай-ка, а у тебя здесь свищ — насчет свища мы не договаривались. Резать дальше или не резать? Если резать, плати еще тридцать юаней или оставим как есть.

И стоял рядом и молча показал Цю большой палец. Аи да Цю! Вот это я понимаю — метод! Вцепиться мертвой хваткой и шаг за шагом выжимать все больше и больше!

Томстик не сопротивлялся, да и где ему было сопротивляться! Цю в своем деле мастак, и язык у него подвешен и неплох — режет свищ и заливается соловьем:

— Скажу по секрету, эта ерундовина могла тебе обонтись юаней в двести, но мы не вымогатели; вылезлишь — дай обо мне хороший отзыв. Если завтра будешь свободен, заходи показаться. Вот эти лоботрясы, мои ассистенты, поглядят в микроскоп, который увеличивает в сорок пять тысяч раз, и, будь уверен, ни полмикроба не найдут!

Томстик не издав ни звука, должно быть, вконец сомневался.

Так и Цю заработал свои пятьдесят юаней. Вечером мы бунзи вина, заказали старухинному повару разных закусок. Большая их часть была приготовлена из старухинных же продуктов.

За ужином мы продолжали обсуждать наши дела и постановили учредить дополнительно отделение по абортам и отделение по борьбе с курением. Ван предложил практиковать анонимные «медосмотры»: любому, кто соберется сдать экзамен в учебное заведение или захочет застраковать жизнь — даже если он уже сшил себе саван и изготовил гроб, — мы с удовольствием выдадим справку об отменном состоянии здоровья, только уплати пять юаней. Проект этот был принят.

Тогда Цю предложил, чтобы каждый из нас внес по несколько юаней, и он на эти деньги закажет вывеску. Конечно, у старика и мысли стариковские, но, что ни говори, ведь он предложил это из любви к нашей боль-

кушайте себе на здоровье все, что вам нравится. Деньги я буду брать только с вас, служанки и повар могут жить бесплатно, а с вас — пятьдесят юаней в день.

Старуха вздохнула:

— Сколько платить — неважно, пятьдесят так пятьдесят. Чунь-сян, поди домой позови повара да скажи, пусть прихватит пару уток.

Я уже раскисался: почему я потребовал только пятьдесят юаней? Мне хотелось дать себе по физиономии! К счастью, я еще ничего не успел сказать о плате за лекарства — уж на этом-то я отыграюсь сполна, пока же нужно все как следует прикинуть — сынок у этой дамы, надо полагать, не меньше как дивизионный командир. А так как она собирается каждый день есть жареных уток, то едва ли скоро отсюда выберется, в общем поживем — увидим.

Больница приобрела надлежащий вид: четыре служанки носились как угорелые, во дворе, возле стены, повар соорудил печь — как будто в доме готовились к свадьбе. Мы, не стесняясь, когда вздумается, пробовали старухины фрукты, съели по нескольку кусков от каждой утки. За все время никому и в голову не пришло заняться лечением больной, всех интересовало одно: не купили ли ей опять чего-нибудь вкусного.

В общем, как бы там ни было, а мы с Ваном уже сделали почин, и только Цю ходил как неприкаянный. Он не расставался со своим ножом — я очень боялся, как бы Цю не испробовал его на мне, и старался не попадаться ему на глаза. Ван время от времени уговаривал его не волноваться, но Цю не мог примириться с мыслью, что еще ничего не заработал для больницы.

И вот, только мы отобедали — клиент! Страдает геммороем, нужна срочная операция! Толстяк, лет сорока с лишним, с большим животом. Госпожа Ван даже приняла его за роженицу и, только рассмотрев, что это мужчина, уступила пациента Цю. Глаза Цю загорелись. Переговоры были недолги, и нож нашего хирурга принялся за дело. Толстяк визжал от боли и умолял дать ему наркоз.

— Насчет наркоза уговору не было! — отвечал Цю. — Можно и под наркозом, если дашь еще десять

юаней. Ну так как, под наркозом или без? Только пистрол!

Гомстик не посмел отказаться, и Цю дал ему наркоз. Новое движение пожом, и опять остановка:

— Послушай-ка, а у тебя здесь свищ — насчет свища мы не договаривались. Резать дальше или не резать? Если резать, плати еще тридцать юаней или оставим как есть.

И стоял рядом и молча показал Цю большой палец. Аи да Цю! Вот это я понимаю — метод! Вцепиться мертвой хваткой и шаг за шагом выжимать все больше и больше!

Гомстик не сопротивлялся, да и где ему было сопротивляться! Цю в своем деле мастак, и язык у него подвешен и пензало — режет свищ и заливается соловьем:

— Скажу по секрету, эта ерундовина могла тебе обойтись юаней и двести, но мы не вымогатели; вылезайшь — дай обо мне хороший отзыв. Если завтра будешь свободен, приходи показаться. Вот эти лоботрясы, мои ассистенты, поглядят в микроскоп, который увеличивает в сорос пять тысяч раз, и, будь уверен, ни пол-микроба не найдут!

Гомстик не издав ни звука, должно быть, вконец сомух.

Так и Цю заработал свои пятьдесят юаней. Вечером мы купили вина, заказали старухинскому повару разных закусок. Большая их часть была приготовлена из старухинных же продуктов.

За ужином мы продолжали обсуждать наши дела и постановили учредить дополнительно отделение по абортам и отделение по борьбе с курением. Ван предложил предложить анонимные «медосмотры»: любому, кто собирается сделать экзамен в учебное заведение или захочет застраховать жизнь — даже если он уже сшил себе савану и изготовил гроб, — мы с удовольствием выдадим справку об отменном состоянии здоровья, только уплатить юаней. Проект этот был принят.

Гость Цю предложил, чтобы каждый из нас внес по несколько юаней, а он на эти деньги закажет вывеску. Понятно, у старика и мысли стариковские, но, что ни говори, ведь он предложил это из любви к нашей боль-

нице, и мы не стали возражать. Он уже придумал название: «Гуманное сердце — гуманное искусство» — немного банально, но сойдет. Мы постановили завтра же с утра отправить тестя на базар за вывеской. Госпожа Ван предложила покрасить вывеску масляной краской, дожидаться, когда мимо ворот будет проходить свадебная процессия, и повесить вывеску под звуки чужого оркестра — всего лишь обычная женская изобретательность, но Ван гордился так, будто сам это придумал.

РАЗЯЩЕЕ КОПЬЕ

Дом, где раньше помещалась «фирма» телохранителей Ша Цзы-луна, давно превратился в обычный заезжий двор...

Восток не мог не пробудиться от глубокого сна. Гром пушек заглушил рев тигров в малайских и индийских джунглях. Люди спросонок протирали глаза, молились богам и предкам; вскоре они потеряли свои земли, свободу, независимость. Люди другой расы стояли у дверей, и дула их ружей еще дымились. Разве могли теперь помочь длинные копья, отравленные стрелы и толстые щиты, ярко расписанные цветами и змеями? Даже предки и боги, в которых верили предки, потеряли силу. Китай драконового знамени перестал быть загадкой; появились поезда, их рельсы пересекли могилы предков, растоптали местные святыни. Оранжево-красные знамена с кисточками, мечи с ножнами из зеленой акульей кожи, звенящие колокольчиками уздечки, острословие, крепкая брань всевозможных бродяг, слава и доблесть, а вместе со всем и Ша Цзы-лун, его военное искусство и предприятие минули как сон, как вчерашний день. Сегодня — поезда, скорострельное оружие, торговля, террор... Поговаривают даже, что нашлись люди, которые хотят отрубить голову самому императору.

То было время, когда телохранители потеряли кусок хлеба, а революционная партия вместе с просветителями еще не начала пропагандировать национальное военное искусство.

Кто не знал Ша Цзы-луна, невысокого и худого,

быстро, крепко сбитого, с глазами, горящими, как звезды в морозную ночь? Теперь Ша растолстел. Он занимал три северные комнаты в заднем дворе, его слава конько стояла в углу, а во дворе устроили голубятню. И только по ночам, заперев ворота маленького дворика, Ша снова пробует свой коронный «удар, поражающий пинтерых тигров». Это «разящее копьё» с его «поражающим пинтерых тигров ударом» двадцать лет удерживало за ним на всем Северо-Западе славу «Ша Цзы-луна с победным копьём», не знавшего себе равных. Теперь и копьё и искусство не могли больше приумножать его славу, и только поглаживая гладкое холодное твердое и дрожащее копьё, он находил — пусть небольшое — облегчение своему страданию. И только по ночам, держа в руке копьё, он мог поверить, что «несравненный Ша Цзы-лун» — это он сам. Днем он не очень любил говорить о военном искусстве и прошлых временах; его мир унесло ураганным ветром.

Обученная им когда-то молодежь изредка еще навещала учителя. Большинство учеников опустили и нигде не могли применить свое мастерство. Многие выступали на ярмарках и храмовых праздниках, притоптывали ногами, раскладывая свои принадлежности, проделывали сальто, а попутно... торговали таблетками, дающими великую силу. Все это давало им возможность заработать пару другую медяков. Иные из них в самом деле не могли сидеть без дела — они плели корзины для фруктов, возили на рынок фасоль и спозаранку выходили на улицы, громко зазывая покупателей.

В те времена мясо и рис были дешевы, и всякий, кто хотел заработать силой своих мускулов, не остался бы голодным. Но не таковы были эти люди. Запросы соответствовали аппетитам: сухие хлебцы и наперченные лепешки были им не по вкусу. И они предпочитали выступать на ярмарках — конечно, в сравнении с работой телохранителя все эти фокусы были сущей безделкой, но все же давали им возможность продемонстрировать свое искусство.

Выступления — занятие унижительное, приходилось подобающим образом наряжаться — ну хотя бы в синие атласные шаровары, белые куртки тонкого полотна, туф-

ли, украшенные скользкой рыбьей чешуей, или синие атласные туфли с вышитыми на носках головами тигров.

Ученики «Ша Цзы-луна с волшебным копьем» (хотя сам он за учеников их не признавал) должны были ходить повсюду, чтобы показать себя, участвовать в храмовых праздниках оади пары юаней, а иной раз и ввязываться в драки. Когда денег у них не было, они шли к Ша Цзы-луну. Старый Ша не был жадным, он им не отказывал, не отпускал с пустыми руками. Но, когда его просили научить каким-то приемам — будь то для драки или же просто для выступления, приемам защиты (как голыми руками отнять нож) или удару «голова тигра», — старый Ша обращал разговор в шутку, спешил уйти или говорил: «Чему еще учиться! Давай-ка лучше согреем чаю!» — а иной раз и просто-напросто выпроваживал своих учеников. Они никак не могли понять, что творится со старым учителем, и расходились недовольные.

Но повсюду они пели Ша Цзы-луну громкую славу. Делалось это с двойной целью: во-первых, показать, что свое искусство они заимствовали от настоящего учителя, что оно подлинное, а не поддельное, и, во-вторых, чтобы подзадорить старика: вдруг кто-нибудь да не поверит и пойдет разыскивать самого Ша Цзы-луна. Неужели и тогда он не продемонстрирует своих заветных приемов? А посему: «Учитель Ша ударом кулака повалит быка, пинком забросит человека на крышу дома — и, заметьте! — без особых усилий». Сами они такого, конечно, не видели, но чем чаще повторяли эти слова, тем больше верили в их истинность: могли указать даже время и место и поклясться, что это правда, сушая правда!

Ван-Победитель, старший ученик Ша Цзы-луна, расчистил сцену перед местным храмом, разложил свои принадлежности. Он растер последние крошки нюхательного табака, по цвету напоминавшего чайные листья, взмахнул, как бы раздвигая сцену, хлыстом. Затем положил хлыст и, не поклонившись публике, подперев руками бока, сказал:

— Молодцы, шагающие по дорогам Поднебесной! Перед вами боец, чей кулак известен бродягам на любой дороге. — Он снова обвел глазами публику. — Земляки!

Ван Победитель не циркач, а на что, собственно, способен циркач? Знает несколько приемов и все. Я был теломатом на дорогах Северо-Запада. Встречал молодых из земных чащоб. Сейчас же свободен, сижу без дела и вот, чтобы развлечь, выступаю здесь перед вами. Кто хочет попробовать — любой, — пусть выходит. Ван Победитель встретит его — пусть с оружием, но как друга. Кто хочет удостоить меня такой чести? «Ша Цзы-хун и поланьным коньем» — мой учитель, и искусство мое настоящее. Итак, господа, есть желающие? Он осмотрел всех, наперед зная, что никто не решится выступить. Как ни убедительны его слова, хлыст с железным приводечиком несом и восемнадцать цзиней * — еще убедительнее.

Ван Победитель, верзила с мясистым лицом, с большими черными сверкающими глазами, осматривал собравшуюся публику. Стояла глубокая тишина. Он снял куртку, подползая потуже, выпятил живот. Поплевал на руки, взял в руки меч и сказал:

— Господа, Ван Победитель потренируется, а вы посмотрите. Когда я закончу, кто может — бросит мне несколько медяков. У кого нет денег, тот просто похвалит меня и это придаст мне новые силы. Здесь не горю. Ну что ж, смотрите!

Изначный меч приблизился к телу, лучики выкатились, лицо напряглось, грудь выпрямилась. Он стоял, как старая сосна, пустынный и измаю корни. Прыжок, меч — поперек груди, красивые восточки трепещут. Меч рассекает воздух, Ван приседает, согнув ноги в коленях, и делает стремительный разворот; руки описывают полукруг. Другой меч оказывается в правой руке, он крутится, тело Вана слегка подается назад, а кругом ни звука, ни пылинки тумана, только слабо звенит колокольчик. Но вот меч застыл в руке, и ни быстро притоптывают землю, тело распрямляется, и Ван, подобно черной пташке, оказывается выше толпы на целую голову. Мгновение — и он принимает обычную позу.

— Господа! — одна рука сжимает меч, другая упирается в бок, он обводит взглядом окружающих. Летят

* Цзинь — мера веса, равная 0,6 килограмма

несколько медяков, он наклоняет голову. — Господа! — вновь говорит он и ждет, но кроме уже брошенных медяков на земле ничего нет. Люди расходятся. Он вздыхает.

— Никто не поймет! — шепчут его губы, но все это слышат.

— Я желаю! — говорит старичок с желтой бородкой.

— А? — Ван-Победитель делает вид, что не расслышал.

— Я говорю, что желаю помериться силами, — неприятно подчеркивая каждое слово, повторяет старик.

Отложив меч, Ван-Победитель смотрит, как и все собравшиеся, на старика. Старик никому не понравился: маленький острый подбородок, грубый синий халат, обтянутое кожей лицо, глубоко посаженные глаза. На плечах — косы, тоненькие, как палочки для еды, но не такие прямые.

Видя, что старик готов с ним сразиться, Ван оживился, глаза его заблестели. Глубоко посаженные глаза старика, черные, как дно колодца, сверкали огнем. Ван-Победитель не испугался, он смотрел, не хочет ли еще кто-нибудь принять участие. Он верил в свое мастерство — ведь он чувствовал себя генералом под командой самого Ша Цзы-луна.

— Ну что ж, идите сюда, сразимся, почтенный дядюшка! — сказал Ван с чувством собственного достоинства.

Кивнув, старик вышел в круг. Кругом засмеялись. Руки старика казались малоподвижными, правая нога волочилась. Он выглядел, как человек, перенесший тяжелую болезнь. Очутившись на сцене, он скинул халат, не обращая внимания на смешки публики.

— Ученик «Ша Цзы-луна с волшебным копьем», говоришь? Отлично. Ты бери пику, а я? — старик был возбужден и торопился, будто давно искал случая сразиться.

Публика снова стала собираться. Циркач с медведем, стоявший неподалеку, больше никого не интересовал, несмотря на настойчивые призывы гонга.

— Будешь защищаться против пики трезубцем? — спросил Ван, желая прощупать старика. Ведь Ван знал, что пользоваться трезубцем надо уметь.

Старик молча согласился и поднял трезубец.

Ван Победитель закатил глаза, потряс пикой в воздухе. Вид его был страшен.

Глаза старика, казалось, стали еще меньше, еще чернее, они напоминали два тлеющих кончика палочек фимиама. Двигаясь из стороны в сторону, они неогрывно сдвигали за острием пики. Вану стало не по себе: черные горящие глаза, точно магнит, притягивали острие пики. Крутом собралась такая толпа, что дождь и ветер не могли бы пробиться. Все поняли, что старик не новичок. Чтобы как-то заслониться от пронзающего взгляда черных глаз, Ван наманил пикой, и кисточки на ней заиграли. Борода старика взметнулась:

— Прошу!

С пикой в руке Ван шагнул вперед, нацелил пику в глаза старика и метнул ее. Кисточки закружились красным вихрем. Тело старика вдруг точно ожило, он слегка пригнулся и, локко избежав удара, сделал бросок вперед и сам нанес удар по руке Вана. Бам, бам! Пика Вана-Победителя лежала на земле. Из толпы раздались одобрителъные крики. Ван Победитель покраснел до корней волос, снова поднял пику и направил ее на грудь старика. Снова засверкали черные угольки глаз. Старик присел на ногу и, оттокнувшись, прыгнул вперед, прежде чем Ван успел пошевеливать пикой. Удар! И пика снова оказалась на земле.

Крутом царил оживление. С Вана градом катил пот, он больше не наступил на своей пикой. Старик аккуратно положил трезубец, накинул халат и, быстро шагая своей странной походкой, подошел к Вану.

— Надо еще потренироваться, приятель!

— Не уходите, — сказал Ван, вытирая капли пота с лица. — Ван побежден, но не уходите. Встретьтесь с учителем Ша!

— Ради этого я и приехал, — подбородок старика сморщился, точно в усмешке. — Пошли, собирай вещи, а уж и начу и!

Ван Победитель сложил свои принадлежности возле фокусника по прозвищу Рябой и зашагал со стариком. За ними следом двигалась толпа. Ван разогнал любопытных.

— Ваше почтенное имя? — осведомился он.

— Сунь, — сухо ответил старик. — Люблю упражняться в военном искусстве, давно мечтаю встретиться с Ша Цзы-луном.

«Ша Цзы-лун с тобой да не расправится!» — подумал Ван. Он прибавил шагу, но старика не обогнал. Старик при каждом шаге выбрасывал вперед руку, и ноги двигались в такт движению рук. Шел он очень быстро, и Ван едва поспевал за ним.

— Откуда родом почтенный Сунь? — поинтересовался Ван.

— Из Хэцзяни. Место незначительное. — Голос старика слегка потеплел. — Для меча и пики нелегко найти время. А у тебя получается неплохо! — похвалил он Вана.

У того снова на лбу пот проступил, но он смолчал.

Подошли к заезжему двору Ша Цзы-луна. Сердце Вана сильно колотилось: он боялся, что учителя Ша нет дома... Ван знал, что старый учитель не любит заниматься подобными делами, ученики его не раз попадали впросак. Но Ван был уверен, что ему учитель не откажет, ведь он его старший ученик... А, кроме того, люди, которые были на празднике, разнесут о случившемся далеко вокруг — ведь это позор и для него, Ша Цзы-луна?

Ша сидел за столом и читал.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

Ван покраснел, губы его зашевелились, но слова застыли на языке.

Ша Цзы-лун поднялся из-за стола.

— Так что же случилось, Победитель?

— Я побежден!

Ша усмехнулся и ничего не сказал.

Ван-Победитель нервничал, но старался сдерживать себя. Ему хотелось подзадорить учителя.

— Старик по имени Сунь ждет вас за дверями. Он... мою пику... вышиб из рук два раза подряд!

Ван знал, что слово «пика» много значит для старого учителя. Не дождавшись приказа, Победитель выбежал из комнаты.

Гость вошел. Ша Цзы-лун ждал его в первой комнате. Они приветствовали друг друга, сложив руки,

Ша послал Ваня приготовить чай. Ван ждал, что старики тотчас померятся силами, уходить ему не хотелось, но пришлось. Старик Сунь молча изучал Ша Цзы-луна, не спуская с него пытливых глаз. Тот был отмен-но вежлив:

— Если Победитель с вами обошелся не так, как надо — простите его. Он еще молод.

Сунь был несколько разочарован, но почувствовал, что перед ним человек умный.

— И пришел к вам поучиться! — сказал Сунь.

Ша Цзы-лун не принял вызова. Вошел Ван с чайником. Он спешил посмотреть, как схватятся старики, поэтому принес пенскиневшую воду и разлил ее в чашки.

— Победитель, — сказал Ша, поднимая чашку, — разницы-ки Сю-шуя и Тянь-хуэя, мы с почтенным Сунем будем ужинать.

— Что, что? — упавшим голосом переспросил Ван. — Нет как! — он был вне себя, хотя и не решался высказать это.

— Неудачно с учениками? — спросил Сунь.

— У меня нет учеников. В чайнике не кипяток. Пойдемте в чайную. Перекусим, выпьем чаю.

Ша Цзы-лун положил в атласный кошелек нюхательный табак, деньги и упрятал его за пояс.

— Нет, я не голоден, — решительно заявил Сунь, и весело метнулся назад.

— Тогда поговорим немного.

— И пришел поучиться вашему искусству.

— Вы опоздали, — Ша показал на свой живот. — Я растоптал!

— Ну и что же. Научи меня своему «поражающему пятерых тигров удару».

— Моему удару? — усмехнулся Ша. — Забыл. На-чисто забыл! Говорю тебе, поживи здесь у меня несколько дней, мы погуляем с тобой, а потом я дам тебе денег на обратную дорогу.

— А чем мне гулять? В деньгах я не нуждаюсь. И прощаю, учиться искусству. — Сунь поднялся. — По-смотрите, я покажу, что умею, а ты скажи — достаточно ли я владею мастерством.

Не дожидаясь ответа, он так стремительно выбежал

во двор, что спугнул голубей. Скинув халат, старик заработал кулаками, ноги его стали подвижными, руки — стремительными. Косички закружились в воздухе, как спустившиеся с неба бумажные змеи. Быстрые удары сыпались во все стороны с удивительной точностью... Он двигался по кругу, приближался и снова удалялся. Но вот кулаки замерли, старик останозился. Так спугнутые птицы вдруг сразу возвращаются в свои гнезда.

— Отлично! Отлично! — сказал Ша Цзы-лун.

— Научи меня своему удару!

Ша Цзы-лун спустился со ступенек.

— Почтенный Сунь, истинно говорю тебе: мое копье и мое искусство вместе со мной лягут в гроб!

— Не научишь?

— Не научу!

Бородка Суня зашевелилась, но он не сказал ни слова, затем вбежал в комнату и собрал вещи.

— Ну что ж, прощай!

— Отужиной со мной, тогда поедешь!

Сунь промолчал.

Ша Цзы-лун проводил гостя до двери, вернулся в комнату и склонил голову перед стоящим в углу копьем. Затем он направился в чайную, где его должен был ожидать Ван-Победитель.

С тех пор Ван не выступал на храмовых праздниках и ярмарках, и никто больше не воспевал Ша Цзы-луна. Наоборот, говорили, что Ша Цзы-лун смалодушничал и не решился сразиться со стариком; а тот старик — о! он может ударом кулака повалить быка! Ему проиграл не только Ван-Победитель, но и сам Ша Цзы-лун не смог ему противостоять!

Между тем Ван не раз навещал старого Суня, а Ша Цзы-лун молчал, будто это его не касалось. И постепенно «Ша Цзы-лун с волшебным копьем» был всеми забыт.

По ночам, когда все расходятся, Ша запирает двери, перебирает свои пики, стоит, опираясь на них, и задумчиво смотрит на звездное небо. Он вспоминает свое былое величие... Он вздыхает, медленно гладит рукой свои копыя, их холодные гладкие древка и с усмешкой повторяет:

— Не научу! Никого не научу!

ПОСЛЕДНЯЯ МОНЕТА

Порывы холодного ветра пригнали Линь Най-цзю с одним юанем в кармане к ресторану «Гряда облаков».

Огнями светился только южный зал ресторана. Свет падал на длинное белое полотнище с какой-то надписью — Линь Най-цзю прекрасно знал, что там написано. Остальные стороны ресторана были погружены во мрак, и оттого здание казалось высоким, холодным и страшным.

Через стекла, усеянные замерзшими капельками, пробивались узкие полоски света. Линь Най-цзю знал: там очень тепло. Вообще-то он не собирался заходить в ресторан. Но холод и мрак улицы, а также тепло зала сломили его. Тепло притягивало его к себе, как южные ветры влекут за собой ласточку, улетающую в теплые края.

Войдя в зал, Линь Най-цзю чуть было не зкашлялся от табачного дыма и тепла. Но громко кашлять он не посмел и, стараясь остаться незамеченным, прошмыгнул на свое обычное место, которое всегда оставлял для него официант. Он сел. Сердце бешено колотилось, и казалось, вот-вот выскочит. Линь Най-цзю охватила усталость, и он закрыл глаза. Официант заварил в чайнике чай и поставил на стол два блюдечка с тыквенными семечками.

— Что-то давненько господин не жаловал к нам? Дня три, пожалуй, не меньше... — проговорил официант.

Словно не услышав обращенных к нему слов, Линь Най-цзю продолжал сидеть с закрытыми глазами. На лбу у него выступил пот, ему стало немного легче.

Все в зале было, как обычно. Прежде всего в глаза Линь Най-цзю бросился длинный стол на эстраде с наполовину свесившейся скатертью, сплошь расшитой фениксами. В огромных зеркалах на стенах как-то криво и причудливо отражались люди, мебель, лампы. Линь Най-цзю помнил наизусть имена, написанные на полосках красной бумаги над зеркалами, — все эти Цзинь-цуй, Инь-цуй, Би Янь-сян... Он знал и следующее имя, на которое сегодня не осмеливался даже взглянуть. Но он должен, должен все же посмотреть в ту сторону, и он

прочел: Ши Лянь-ся! А у него остался один-единственный юань... И ему стало страшно от мысли, что вот от этого круглого твердого кружка серебра как бы зависит все, связанное с ней, Ши Лянь-ся!

Он оглянулся. Позади него группками сидели немногочисленные посетители. Как обычно, в конце зала старики сражались в облавные шашки *. Остальные гости грызли тыквенные семечки, попивали крепко настоянный в маленьких чайниках чай, беседовали, шутили, смеялись, время от времени выходили по малой нужде и снова возвращались, утирались горячими полотенцами, смоченными одеколоном. Одним словом, все шло как обычно.

«На улице ветрено, вот и людей маловато», — подумал Линь Най-цзю. Но облака табачного дыма, клубившиеся в зале, тепло, стук шашек, говор, смех, свет ламп, отражавшийся в зеркалах, — все это ослабляло ощущение пустоты и одиночества.

Линь Най-цзю посмотрел на эстраду — там по-прежнему никого не было. Хорошо ли, что он здесь? Может быть, ему лучше уйти? Ведь у него в кармане единственный, последний юань! Вправе ли он дожидаться, когда на эстраде появится Ши Лянь-ся, и не заказать ей, как обычно, с видом покровителя, арию? Но, убеждал он себя, сегодня он пришел сюда вовсе не для того, чтобы слушать ее.

— Чего прикажете, господин? — снова подошел к нему официант и подал полотенце.

— Потом, потом... — пробормотал Линь Най-цзю, утирая рот полотенцем.

Он совсем потерял покой. Он решил было отдать юань официанту и уйти. Но монета — этот последний юань — словно впилась ему в ладонь! И он почувствовал, что не в силах пошевелинуть ни единым членом. Романтика, мужество, молодость, жизнь — все подвластно этой монете, все начинается с нее и завершается ею. Он сидел, не двигаясь, — жалкий, ничтожный, с похолодевшим сердцем. Переждать еще немного и уйти, во что бы

* Облавные шашки — китайская игра, отдаленно напоминающая европейские шашки.

то ни стало уйти. Но вот снова взгляд его приковала полоска красной бумаги с именем Ши Лянь-ся.

И опять Линь Най-цзю стал думать о ней. Она такая красивая, такая изящная и вместе с тем какая-то жалкая! Да, жалкая. Он вовсе не любит ее, он просто ее жалеет. Жалеет, потому что она красивая, хрупкая, бедная и потому что... Почему? Да потому что она — легко доступный, нежный кусок мяса! А раз жалеешь, значит, должен платить. Но разве сделаешь доброе дело с одним юанем в кармане! Нет, придется все-таки уходить и уходить немедленно: нельзя, ни за что нельзя допустить, чтобы Ши Лянь-ся заметила его! Но куда идти? Куда податься, если во всем мире у тебя остался лишь один-единственный юань?

Будь у него хотя бы пять юаней — больше и не нужно! — он мог бы преспокойно сидеть здесь или же отправиться с крошкой Лянь-ся к ней домой выпить чашку чаю. Достаточно было бы пяти юаней, чтобы он мог умереть в славе и почете, не хуже других. Но ведь у него только один юань — с ним перед смертью даже взглянуть на Лянь-ся не осмелишься! Нет, все это невыносимо!

Он очень устал и знал, что это оттого, что весь день бродил. Где он только не был! И все из-за этого юаня. Здесь он передохнет малость: ведь как-никак у него целый юань. Благодаря ему он сможет погреться здесь часок-другой. Надо истратить этот юань, а там будь что будет!

Но вот на эстраде появился старичок, весь вид которого красноречиво говорил: живет он еще и движется только благодаря героину. Он расставил на эстраде подставки для музыкальных инструментов. «Уйти или остаться?» — снова задался вопросом Линь Най-цзю. Нет, идти некуда, и он не двинулся с места. На эстраду он больше не смогел: он думал о себе. За двадцать с лишним лет жизни его еще никогда так не заботила собственная персона. Сегодня же он ни на мгновение не забывал о себе. Он чуть было не встал, чтобы поглядеть на себя в зеркало, но у него не хватило смелости. Да что там! Он и без этого знал, что он и его старший брат отличаются друг от друга чуть ли не как люди двух раз-

ных национальностей. Эх, брат, брат! Все несчастья из-за него. И всего один юань у Линь Най-цзю остался только потому, что старший брат не дает больше денег. Всю свою жизнь его старший брат боится съесть лишний кусок мяса. Жалкая деревенщина! Он, правда, высылает Линь Най-цзю деньги на учебу. Вообще-то брат он неплохой. Но у него есть недостатки. Он, например, не понимает, что младшему брату, который учится в большом городе, нужно общаться с людьми, одеваться, заводить новых друзей... Линь Най-цзю вовсе не какой-то там бессовестный и неблагодарный. Вот окончит он учение и тут же расплатится со своим старшим братом за все.

Думая о брате, Линь Най-цзю обычно испытывал к нему чувство признательности. Временами у него даже возникала мысль пригласить брата в город послушать Ши Лянь-ся. Но тут же Линь Най-цзю отказывался от этой затеи: брат ведь у него провинциал, не понять ему искусства!

«Не может быть, чтобы у брата не было денег. Просто он не понимает меня и не желает больше посылать мне», — думал Линь Най-цзю. Он почувствовал, что начинает ненавидеть старшего брата. Линь Най-цзю так толком и не знал, как велико богатство брата, да и осведомляться об этом не имел ни малейшего желания. Ему было известно только одно: брат не любит бросаться деньгами. И он не мог не возненавидеть брата. Чувство ненависти натолкнуло его на мысль о мести. Он умрет, и все надежды семьи Линь разлетятся в прах: он всегда считал, что он — надежда семьи, а его старший брат — всего-навсего серость, деревенщина. «Вот умру я, и брату не поздоровится», — рассуждал он, рассматривая свою смерть как месть, как жертву. Линь Най-цзю твердо решил: он не может не умереть, иначе брат всегда будет думать о нем как о человеке, пекущемся только с том, чтоб побольше урвать для себя.

Но едва Линь Най-цзю подумал об этом, как на эстраде запели. Какой-то безголосый мужчина с зубами, почерневшими от курения опиума, вперив взор в дальнюю лампу, пел что-то, словно во сне. Никто в зале его не слушал. Линь Най-цзю стало жаль певца, но еще

больше ему было жаль себя. Ему хотелось крикнуть этому человеку что-то в знак одобрения, но рот у него не открывался. Будь у него хотя бы два юаня, он подарил бы один этому чернозубому и тот был бы благодарен ему по гроб жизни. Но ведь у него только один юань... Он должен умереть, чтобы отомстить брату. Посмотрим тогда, найдет ли его семья такого, как он! Такого, как он, повидавшего кое-что на свете, разбирающегося в культуре, образовании, человека, что называется, с перспективой. Ну и пусть его старший брат со своими деньгами разрушает надежды семьи Линь!

Тем временем чернозубый сошел с эстрады, его сменила певица. Сердце Линь Най-цзю дрогнуло: если уходить, то уходить немедленно, не дожидаясь появления Лянь-ся. Но, успокаивал он себя, Лянь-ся выступает обычно с заключительным номером, и вообще он был не в силах уйти отсюда, расстаться с теплом, с этой частичкой жизни! Покинуть зал означало для него умереть на холодном ветру! И он оставался сидеть на месте.

Линь Най-цзю не слышал, что поют с эстрады. Но вот он взглянул на музыканта — незнакомого ему человека, который ростом напоминал его старшего брата. Ох, опять брат! И Линь Най-цзю снова погрузился в свои мысли. Ведь и то, что он приходит сюда слушать песенки, и даже то, что он помогает Лянь-ся, — все это делается ради экономии денег старшего брата. Да где уж там брату понять!

Впервые в «Гряде облаков» его привел Лао Хэ. Уж на что рассудительный и скромный парень этот Лао Хэ: своих соучениц вечно сторонится, на досуге любит послушать рассказчиков книг. Сколько нужно денег, чтобы с подружками водиться? А чтобы послушать сказителя, достаточно всего несколько медяков. Ну, а скажем, чтобы заказать песенку, разве не хватит юаня? Да где уж старшему брату понять! А сколько потребуется денег, если вести себя так, как Ван Шу-юань? Он подцепит девчонку и ну себе шлягся по номерам. Да еще брюхо ей набьет. Линь Най-цзю никогда не занимался подобными делами. Недаром соученики превратили Лао Хэ и его в посмешище: с девочками, мол, они дружбу не водят, а знай себе ходят слушать Лянь-ся! А почему?

Да чтобы деньги сберечь! Вот он и Лао Хэ закажут за вечер каждый по одной песенке и потратят всего немногим больше двух юаней. Эх, старший брат, старший брат, ничего-то ты не понимаешь!

Но как ни гневался Линь Най-цзю на брата, его мучило еще и чувство стыда. Дело в том, что он не ограничивался только заказом песенок. Ему случалось покупать для Лянь-ся и туфли и шелковые чулки. Поэтому и насмешки своих однокашников он сносил не совсем спокойно. Все-таки из-за Лянь-ся его одолевала бессонница.

По сравнению с его соученицами Лянь-ся, конечно, поотстала. Она хорошенькая, поет, но ее разговор, ее наряды... Воротники у нее доходят до самых ушей, а студентки уже давным-давно не носят стоячих воротничков. «Бедняга!» — обычно думал о ней Линь Най-цзю, часто используя это слово, чтобы оправдаться перед самим собой.

На самом-то деле Най-цзю чувствовал за собой небольшой грех. Грех, связанный с деньгами. Есть два юаня, значит, можно послушать еще две песенки в исполнении Лянь-ся, повидать ее лишние двадцать минут. Есть пять юаней, можно отправиться к ней домой, поразвлечься часок. Она ведь такая недорогая! Он не собирался жениться на ней, она нужна ему только как забава. С ней так приятно и хорошо, не то что со студентками. Она такая простая, красивая и прекрасно понимает, в чем сила денег. В самом деле, ему не приходилось много тратиться на нее. Но все-таки расходы, связанные с ней, были немалые. Он должен был одеваться. Ему приходилось приглашать приятелей пойти послушать Лянь-ся... Время от времени он вместе с Лао Хэ ходил к проституткам. Однако, если подсчитать все вместе, то и тогда не получится таких трат, какие делал Ван Шу-юань, когда набивал кому-нибудь брюхо.

Что же касается морали, то его, Линь Най-цзю, моральные устои весьма высоки. Да, да! И только Лянь-ся пробудила в нем интерес к проституткам. Да и кто из молодых людей не ходит от своих подружек к более доступным женщинам? Сущие скоты, а еще прикидываются культурными людьми!

Кто-кто, а Лао Хэ ни за что не совершит неблагоприятного поступка: человек он способный, всегда при деньгах, влиятельный. Но даже он считает: завести подружку на время учебы необходимо. Линь Най-цзю знает: с Лао Хэ не пропадешь. Но вот старший брат — ни дать ни взять глупец!

Вообще-то Линь Най-цзю мог бы взять займы у Лао Хэ несколько юаней. Но обращаться к нему он не хочет и не станет. Лао Хэ человек щедрый и великодушный. Но ронять свое достоинство, даже если кто-то великодушен и щедр, — это Линь Най-цзю не под силу. Да к тому же — обратишься к Лао Хэ с просьбой выручить с деньгами, неизбежно проболтаешься о глупости старшего брата и еще, неровен час, обзовешь его беспросветной деревенщиной. Пристало ли ему, Линь Най-цзю, при посторонних так отзываться о своем родном брате? Старшему брату от этого ничего не станется, но не повредит ли это его собственному престижу? Пусть даже он, Линь Най-цзю, очочурится в городе, но обнаруживать свои деревенские замашки — ни за что!

На эстраде вновь произошла перемена — появилась Цзинь-цуй. Она-то и вызывала у Линь Най-цзю наибольшее отвращение: полный рот золотых зубов, толстые губы наподобие рыбьих пузырей, неизменно призывный соблазняющий взгляд. Одним словом, эта распутица была явно не в его вкусе. А как прелестна Лянься! Она ведь тоже красит губы, но зато как это ей идет! А, черт! Идет — не идет! Какое, черт возьми, отношение имеет его один-единственный юань к покрашенным губам! Надо уходить: он не вынесет, когда кто-то другой станет заказывать ей песенки! Но кроме общежития идти некуда. А общежитие, как тюрьма: в девять часов там гасят огонь. Из вещей у Линь Най-цзю остались лишь коротенькое одеяло да одежда, что на нем. Спать одетым он не может, продать пальто, чтобы удлинить чем-нибудь одеяло, тоже нельзя. Так, пожалуй, до самой смерти и будешь маяться. В деревне он спал на кане*, носил короткий ватный халат, задирающийся сзади. Но ведь то было в деревне.

* К а н — отапливаемая лежанка.

Он вспомнил о соучениках, которые не отказывали себе буквально ни в чем, и почувствовал, что ненавидит своего брата все сильнее и сильнее. Разве его одноклассникам не шлют из дому деньги и всякую всячину? А как красиво все они одеты! Конечно, о его одежде тоже не скажешь, что она некрасивая, но такое впечатление создается только благодаря приличной расцветке и фасону. А вот на то, чтобы купить действительно хороший материал, денег у него никогда не бывает. Подумать только: какая-то деревенщина, провинциалы, наряжаются в атлас — хоть поддельный, но все же атлас. Он даже побагровел. Но больше всего его удручало другое. Все эти дни он старался более или менее равномерно распределить свои деньги и не осмелился даже сходить в баню. Натальная фуфайка на нем вся в дырах! Его способностей и таланта хватает лишь на то, чтобы содержать в порядке верхнюю одежду. Что же касается пополнения запасов нижнего белья, то это ему не под силу. Ему и вправду нужно немного белья: он мерзнет. Чем так маяться, лучше уж никогда бы и не приезжать в город. Жил бы он в деревне да кис всю жизнь вместе со старшим братом и его домочадцами. Разумеется, его талант погиб бы там, но зато он не принял бы на душу столько грехов... Нет, нет, это счастье, что он оказался в городе! Хотя бы для того, чтобы умереть здесь, и то стоило приехать в город. Как-никак он повидал мир, слегка поразвлекся, хотя и не скажешь, что он испытал слишком много удовольствий. Было бы ужасно всю жизнь не расставаться с родным домом! Кан, ватный халат, из которого давным-давно вырос, пампушки из самой дешевой кукурузной муки — неизменная пища бедняков — и, конечно же, ни единой женщины, которая хотя бы немного напоминала изящество и красоту Лянь-ся. Так что умереть сейчас, да простит мне Янь-ван — владыка ада, — просто почетно!

На душе у Линь Най-цзю стало легче. Тем временем Цзинь-цуй сошла с эстрады.

— Пусть Лянь-ся споет «Путешествие в храм героев»! — послышалось сзади.

От неожиданности Линь Най-цзю едва не подпрыгнул на стуле. Отчего это Лянь-ся выходит так рано

сегодня? Он обернулся. Старики, сражавшиеся в облавные шашки, прекратили игру. Один из них указывал на эстраду маленькой курительной трубкой из черного дерева.

«Ишь, старая рухлядь! И они туда же — покровительствовать Лянь-ся!» — выдавил из себя Линь Най-цзю сквозь зубы. Старые бесстыдники! Он был вне себя от злости и ревности: подумать только, у него нет денег, а у этих старых перечниц — хоть отбавляй! Вот и выходит Лянь-ся всего только игрушка, забава для тех, у кого деньги!

Тем временем, кокетливо покачиваясь, на эстраде появилась Лянь-ся. Ничего не скажешь, получается это у нее превосходно. Она склоняет голову в поклоне, как бы давая возможность сидящим в зале разглядеть ее накрашенные губы, раскрывшиеся в очаровательной улыбке. Но вот она уже плывет по сцене, слегка поводя руками и едва-едва удерживая равновесие. Сгупает она так грациозно, что верхняя часть ее тела неподвижна, а полы длинного платья мерно колышутся. На изящных ножках — легкие туфельки из белого атласа, расшитые красными пионами. И кажется, что несколько шагов от кулис до барабана она скользит, словно не касаясь пола носками и пятками. Вот она уже у барабана, и снова кокетливо опускается голова, после чего следует низкий поклон — долгий, неторопливый, исполненный большого чувства. Внезапно голова поднимается — так от рассветного ветерка пробуждаются лотосы. Лянь-ся окидывает взором зал, правой рукой поправляет стоячий воротничок, берет колотушку и легонько бьет в барабан. При каждом ударе она постукивает носком туфельки по барабанной подставке и, раскачиваясь в такт, непринужденно разглядывает публику.

Линь Най-цзю, боясь встретиться с ней взглядом, опускает голову. Но и так она предстает перед его мысленным взором во всей своей красе. Действительно, прав Лао Хэ: их соученицы и в подметки ей не годятся. Особенно эти, деревенские: черномазые, круглолицые, с большими ножищами, в красных домотканых жилетах из грубой шерсти явно с чужого плеча! А Лянь-ся — горожанка, горожанка с ног до головы! Единственный ее

недостаток — бедность. Будь у него свои деньги или же имей он право распоряжаться по своему усмотрению деньгами старшего брата...

Даже не глядя на нее, Линь Най-цзю ясно представлял ее себе. Длинные волосы, перехваченные большим гребнем с диадемой, красиво спадают на плечи. Овальное лицо, светлый лоб, заостренный игривый подбородок, округленный кончик миниатюрного носика. Глаза небольшие, но веки — божественные, изумительный ротик...

Он хочет взглянуть на нее и не решается. Эх, было бы у него в кармане хоть пять юаней!

Голос у Лянь-ся небольшой, но зато дикция превосходная — каждое слово звучит чисто и ясно. Губы, зубы, щеки, руки, глаза — все помогает ей петь. Она вкладывает в песню всю себя. Публика, словно замороженная, слушает ее — не слышно ни смеха, ни шуток. Ростом она невысокая, но какая-то по особому статная и крепкая. Казалось, она обладает волшебными чарами, особой одухотворенностью. И именно этой одухотворенностью она повергла к своим ногам весь зал. И свет, и табачный дым, и тепло — все в нем словно принадлежит ей, только ей. А у Линь Най-цзю всего только один юань, и ему теперь не принадлежит ничего...

Но у нее тоже нет ничего за душой, талант певицы — вот и все, чем она обладает. Линь Най-цзю знает: дома у нее мать и немного изношенного тряпья. Она такая же, как и он, — что на ней, вот и все ее богатство. Ну, теперь он действительно должен уйти; неужели он и в самом деле такой же бедняк, как она? Прежде такое никогда не приходило ему в голову. Раньше он жалел ее, а теперь они — товарищи по несчастью. Так он и вправду товарищ по несчастью какой-то певичке? Нет! Прежде он никогда не страдал излишней гордыней, а теперь ему, пожалуй, не следует перебарщивать с самоуничижением. Ведь ее старшая сестра — Ши Лянь-юнь — начала свою карьеру с того, что отправилась в публичный дом! А его старший брат? В худшем случае провинциал, деревенщина. Но ее старшая сестра — проститутка. Он не может больше любить Лянь-ся. Если бы он и собирался жениться, в жены пришлось бы взять одну из его соуче-

ниц, а Лянь-ся могла бы быть только наложницей. Нет, нет! Он, конечно, не за то, чтобы обязательно иметь наложниц, но...

— Лянь-ся, спой «Большой западный флигель!» — слышался выкрик.

Линь Най-цзю даже не поднял головы. Обычно он заказывал ей только одну песню и, конечно, не из-за экономии денег: он жалел ее горло. Иногда другие заказывали подряд по нескольку песен, и он никогда не стремился никого перещеголять: он не такой жестокий, чтобы требовать от певицы петь вот так, без передышки, несколько песен! Он относился к ней как к человеку: она же не граммофон. Сегодня он безучастен — другие заказывают песенки, а он слушает и ему ни к чему жалеть ее. Она устанет, но зато получит больше денег. А у него только один юань. Вот он читает книги, иногда и для других, но никто не платит ему за это. Да, деньги — это все. Имея деньги, можно было бы заказать ей сотню песенок, чтобы она пела их без передышки и устала до смерти. Или же за кучу денег купить ее самое, чтобы она пела только для него одного. Не существует никакой гуманности или негуманности! Приди он завтра при деньгах, он сможет заказать ей сразу несколько песенок. Что бы ни произошло в мире, при всех обстоятельствах самое дорогое — это деньги. Да, но где бы завтра раздобыть немного денег?

Лянь-ся по-прежнему улыбалась, но пела уже не в полную силу.

Он взглянул на эстраду, и Лянь-ся тотчас отвела взгляд. «Нарочно», — подумал он. Денег у нее было явно маловато! Она шарила взглядом по задним столикам: оттуда заказывали песенки.

— Bravo! — закричал Линь Най-цзю, не в силах больше сдерживать свою ярость. И посмотрел на Лянь-ся. В уголке ее рта мелькнула едва заметная улыбка. Затем, холодно усмехнувшись, она искоса взглянула на Линь Най-цзю. От этого взгляда на него повеяло холодом.

— Bravo! — снова крикнул он.

Лянь-ся смеялась и по-прежнему не спускала глаз с задних столиков.

— Послушай-ка, почтеннейший! Я плачу деньги, чтобы она пела песенки, а не для того, чтобы ты орал «браво!» — раздалось сзади.

В зале послышался смех.

— Что такое? — поднялся со стула Линь Най-цзю.

— А вот что: дождись, пока я попрошу тебя крикнуть «браво!» тогда и кричи. Понял? — снова прозвучал тот же насмешливый голос.

Линь Най-цзю наконец разглядел, что говорил какой-то толстяк у окна. Не удостоив его ответом, Линь Най-цзю схватил чайную чашку и запустил ею в окно. Посыпались осколки — стекло и чашка разлетелись вдребезги. Линь Най-цзю поспешно обернулся и взглянул на Лянь-ся. Она стояла на эстраде, слегка приоткрыв рот.

— Ах, так ты драться? — вскочил толстяк и бросился к Линь Най-цзю.

Все повскакали с мест.

— Есть у тебя, мать твою, деньги, вот и заказывай себе песенки! А дурака не валяй, мать... — ругался на чем свет стоит толстяк, к которому уже подскочили официанты. — Тебя, мать твою, еще и в помине не было, когда я уже заказывал песни!

Рассвирепев не на шутку, Линь Най-цзю ринулся к толстяку.

— Ты поаплодируй, поаплодируй, сопляк! Может, мать твою, и заработаешь юаней десять! Тогда уж и я возьму на себя позор — соглашусь носить недостойную фамилию твоей бабки! — не унимался толстяк.

Линь Най-цзю подскочил к нему. Но в тот же миг официанты и гости с громкими возгласами схватили его. Не успел он опомниться, как его с шумом и гамом вытолкали за дверь залитого светом зала. Выбросили во мрак, на холод, на ветер. Его стала бить дрожь, безразличие ко всему овладело им. Куда теперь податься? И он стал медленно спускаться по лестнице...

Он прошел с полкилометра, ни о чем не думая... Но вот он снова подумал о том, что произошло. Ему казалось, что с тех пор прошло много времени. Он решил было вернуться к «Гряде облаков», дожидаться Лянь-ся и сказать ей несколько слов. Он должен поговорить с ней

в последний раз. Надо же ей объяснить, что он не хулиган и не бандит какой-нибудь — любитель заводить драки, что он бросил чашку только из нежности и любви к ней, Лянь-ся. В своем поступке Линь Най-цзю видел и геройство: не будь храбрецов, никогда на свете не было бы и драк. Конечно, надо сделать так, чтобы Лянь-ся сама заговорила об этом: ведь неудобно же самому говорить о своем героизме. Ну, а после того как она увидит, какой он герой, он с радостью умрет.

Но он озяб и обратно к ресторану не пошел. Уж если куда-нибудь идти, так в общежитие и завалиться спать. При мысли об общежитии ему еще больше захотелось умереть. Ну, а если бы у него, Линь Най-цзю, было не только одно одеяло? Нет, все равно неинтересно жить. Хорошо еще, что остался юань, — он пойдет и купит снотворное. Он пошарил в кармане — юань исчез. Лавки на улицах еще открыты, еще не поздно купить снотворное и умереть, а юаня в кармане нет как нет. И он решил, что юань выпал у него из кармана во время драки, а он в суматохе не услышал звона монеты. Вернуться обратно и поискать? Нет, он не в состоянии. Если бы речь шла хотя бы о бумажке в десять юаней, тогда еще можно было бы, но искать юань... Так что думать о самоубийстве слишком поздно: у него не осталось денег даже на цзинь керосина. Теперь ему недоступна даже смерть. Впрочем, чтобы броситься в реку, денег не требуется. Но неужели жизнь так дешева? Вот так, даром, ни за грош, взять, да и броситься в реку? Нет, ни за что!

Надо идти побыстрее: ветер не сильный, но пронизывает до костей. Если идти быстро, вспотеешь и будет не так холодно. И он ускорил шаг, на душе у него стало веселее. А когда он услышал звук своих шагов, то вдруг понял: умирать не стоит. Человек он энергичный. Нужно найти выход. Он готов все перенести, только бы закончить учение. Уж тогда он непременно расквитается и со старшим братом, и с Лянь-ся, и с этим толстяком... Ни одному из них не избежать его мести. Он засмеялся и пошел быстрее. Потом перестал смеяться и как-то по-добрел. Но что в конце концов представляют собой его старший брат и Лянь-ся, да и этот толстяк? Добьется он

своего в жизни, и незачем будет ему спорить с ними, сводить какие-то счета. А завтра он пойдет к Лао Хэ и попросит у него несколько юаней. Вот он и выйдет из затруднительного положения.

И как будто Лао Хэ уже дал ему взаймы, он стал снова думать о «Гряде облаков». Денежки в кармане, и вот, условившись о свидании с Лао Хэ, они сидят в зале в первом ряду, дожидаясь толстяка. Лао Хэ — парень сильный. Избив толстяка, они вдвоём с Лао Хэ отправляются к Лянь-ся домой. Она наверняка начнет извиняться перед ним, станет называть его господин Линь. Плутовка этакая! Так, именно так он и сделает! Он ведь молод. А молодости все под силу, все нипочем.

Добравшись до общежития, он выглядел даже веселым и радостным. В других комнатах было темно: там уже спали. У этих в жизни нет никаких наслаждений, радостей», — презрительно подумал Линь Най-цзю. Он уселся на кровать и уставился на носки своих туфель, сплошь покрытых грязью. В комнате было холодно. Посидев немного, он незаметно для самого себя повалился на кровать. Линь Най-цзю стал засыпать, а в голове у него завертелся целый сонм мыслей. Он думал о своей никчемности и о том хаосе, который его окружает, о деньгах, о половом влечении, о воздержании и свободе, о дикости и культуре, о зле и красоте. И, погруженный в эти раздумья, заснул.

Ему привиделось, что в «Гряде облаков» уже погасли огни. Он, крадучись, входит в дверь и на полу, сплошь усеянном шелухой от тыквенных семечек и окурками, ищет свой юань...

Между тем в ресторане еще горел свет. Гости уже разошлись, а старичок-наркоман мел пол. Вдруг он увидел на полу серебряный юань и охнул от удивления.

— Не перевелись еще богатые люди! — пробормотал он. — Вот ведь дерутся и невзначай роняют серебряные юани!

Он поднял юань, подул на него, приложил к уху.

«Настоящий! — с удовлетворением отметил он, но тут же одернул самого себя. — Нашел и ладно! Нечего сдуру радоваться, словно кошка, которой достался лакомый кусок!»

Продолжая мести пол, старик одной рукой придерживал монету в кармане. Долго он прикидывал про себя: то ли купить пару туфель, то ли... И в конце концов твеодо решил: купить себе в награду за труды побольше героину — того самого, который стоит по четыре гривенника, и нанюхаться всласть.

ПОЕЗД

Поезд уже давно отошел от станции, и колеса монотонно стучали по рельсам. Пассажиры, вздыхая, считали часы: семь, восемь, девять... К десяти поезд будет на месте, а к полуночи они успеют добраться до дома. Не так поздно, хотя детей, наверное, уже уложат. Пассажиры спешили — был канун Нового года — и, глядя на консервные банки, фрукты и игрушки на полках, они предвкушали радостные детские крики: «Папа! Папа!» — и мысли об этом подогревали их нетерпение. Некоторые наверняка знали, что вернутся домой лишь к утру, они разглядывали соседей по вагону, тщетно пытаясь завязать знакомство или просто поговорить. Да, Новый год им придется встретить в пути! Проклиная поезд за то, что он двигался со скоростью улитки, потягивая чай, покуривая, вздыхая, прижимаясь к окнам и видя лишь бесформенное царство ночи, они мысленно давно уже сошли с поезда и вернулись домой чуть ли не в сотый раз — еще до того, как поезд отошел от перрона.

В вагоне второго класса пассажиров было немного. Господа Чжан и Цяо сидели в одном купе, друг против друга. Поднимаясь со своего места, они всякий раз раскладывали одеяла, показывая тем самым, что никто больше не будет здесь желанным гостем. Когда поезд тронулся, оба с удивлением обнаружили, что свободных мест немало, и это открытие навело их на грустные размышления по поводу необходимости путешествовать в новогодний вечер. У них оказалось много общего: у обоих были служебные билеты и оба получили их в последнюю минуту. Человек, в чьем ведении находились биле-

ты, задержал их, и оба негодовали, вспоминали старые, добрые времена, проклинали тех, по чьей вине им не удастся попасть домой на день раньше, словно позабыв, что получили все-таки бесплатные билеты.

Лао Чжан снял свою шубу на лисьем меху, поджал под себя ноги, но тут же обнаружил, что для такой позы сиденье слишком узкое. Между тем в купе становилось все жарче, и капли пота скатывались ему на брови.

— Проводник, полотенце! — крикнул Лао Чжан и поднял глаза на соседа. — Чего это они так топят, хотел бы я знать! — Он задыхался. — Надо было лететь самолетом. Не так жарко!

Цяо уже давно снял пальто и остался в куртке на меху, поверх которой он носил черную сатиновую безрукавку. Он чувствовал себя прекрасно.

— Достать билет на самолет было бы нетрудно, — сказал он, и на его лице мелькнуло подобие улыбки.

— Лучше все же не рисковать, — отозвался Чжан, ноги которого так и не могли найти удобного положения. — Проводник, полотенце!

Проводнику было за сорок. Его тонкая, как палка шея, казалось, с трудом удерживала голову... Он то и дело сновал в проходе с горячими полотенцами, всегда готовый услужить. Но в этот проклятый день это было выше сил человеческих. Он остановился у первого купе, где расположился Сяо Цуй.

— Знаешь, я дежурил двадцать седьмого и двадцать восьмого. Сегодня мне положено отдыхать. И вот в последний момент приходит господин Лю и говорит: «Ты поедешь под Новый год». Так и сказал. Шестьдесят человек работают на этой линии, и не повезло, конечно, мне. На Новый год мне плевать, какая разница, та же дрянь. — Он прогянул Цую полотенце. — Возьмите. Я ответил господину Лю, что Новый год меня не интересует, но должен же он понимать, что сегодня не моя очередь. Я сказал, что работал целый год и имею право наконец передохнуть. — В горле его что-то заклокотало, и кадык двинулся, как пузырь воздуха в бутылке, которую перевернули вверх дном. С минуту он не мог выдать ни слова. — С меня довольно, к черту! — закричал он. — Все к черту, проклятые времена!

На бледно-желтом лице Цуя заиграла улыбка. Он наклонил голову в знак сочувствия. На железной дороге его знали все, включая перронных служащих и даже механиков. Со всеми он был в дружеских отношениях. Его лицо было эквивалентно билету второго класса, и даже сам министр железных дорог не стал бы оспаривать это. Все отлично знали, что он возит с собой сотню другую унций опиума, и все считали это в порядке вещей. Маленький Цуй никогда никого не раздражал и ни к кому не был пристрастен, чтобы ни в ком не вызывать зависти. Он умело сочувствовал чужим бедам. Не имея врагов, он никого не боялся, и эта высшая жизненная мудрость была написана на его билете, т. е. на лице.

— Всем нелегко, — пожаловался он, надеясь, что повествование о его, Цуя, бедах облегчит страдания проводника. Он рассказал, что предпочел бы остаться дома, но случай свел его с такой девицей, которая высосала из него все деньги, и, чтобы поправить дела, он вынужден был предпринять эту поездку. Он снова улыбнулся, обнажив темные зубы, вздохнул и сплюнул на пол.

Его рассказ подействовал на проводника, который, казалось, начал забывать свои печали и сочувственно закивал собеседнику. Полотенца в его руках остыли, и он побежал вновь окунуть их в кипяток. Появившись в коридоре, он молча проследовал мимо Цуя, точно не заметив его и слегка прищурился, словно давая понять, что, несмотря на все утешения, он все же не забыл своей обиды.

На этот раз он подошел к господину Гоу.

— Желаете полотенце? — спросил он, наклонившись. — Это настоящая пытка — путешествовать в такой день. — Ему явно требовался новый слушатель. Но с господином Гоу он был мало знаком, а потому хотел подойти к своей цели по возможности исподволь.

Гоу был одет с известным шиком. На нем было темное саржевое пальто с бобровым воротником, новая черная шляпа, похожая на дыню. Он не снял ни пальто, ни шляпы, и вид у него был важный, как у президента на перроне вокзала, выжидающего наиболее торжественной минуты, чтобы обратиться к народу с речью. Господин Гоу взял полотенце и, точно не желая сгибать в

локтях вытянутые руки, описал ими полукруг в воздухе, прежде чем поднес полотенце к лицу. Затем стал быстро и даже с каким-то остервенением тереть лицо. Когда лицо его вновь появилось из этого полотенечного вихря, оно ослепительно сверкало, сияло новым блеском, новым величием. Он кивнул проводнику, так и не объяснив, почему ему вздумалось путешествовать в канун Нового года.

— Это кошмар — служить проводником, — сказал тот в надежде завязать легкий разговор. Повторять уже сказанное Цую было не к лицу. Следовало говорить с известной небрежностью, но почтительно и доверительно. — В такой день положено отдыхать. Однако ничего не поделаешь. Хотите еще одно? — спросил он, забирая полотенце.

Гоу покачал головой. Очевидно, его тронули жалобы проводника, хотя вступать в разговор ему не хотелось. Все на линии знали, что Гоу — близкий друг управляющего, он пользовался привилегией путешествовать в вагоне второго класса в любое время. Ему требовалось лишь удостоверить свою личность, а он мог сделать это, не вдаваясь ни в какие объяснения.

Проводник так и не понял, что означает движение головы Гоу, и ему оставалось лишь ждать. Вагон начало подбрасывать на стрелке, и проводник чуть было не свалился в проходе. Кое-как устояв на ногах, он развернул полотенце и, аккуратно держа его за кончики, протянул Чжану. Чжан тотчас схватил своей мясистой рукой посредине, где была самая горячая часть, прижал его к лицу и начал тереть с такой силой, будто протирал не лицо, а зеркало. Другое полотенце проводник предложил Цяо. Тот спокойно взял его и стал тщательно чистить полотенцем ногти и прочищать нос. Полотенце стало черным.

— Скоро придет контролер, — заговорил проводник, понимая, конечно, что даже полиция не может быть хуже человека, который стремится завязать разговор с единственной целью излить собственное раздражение. Он решился на фланговую атаку. — Когда контроль кончится, господа, вероятно, захотят отдохнуть. Если понадобится подушка, — позовите меня! Пассажиров

мало, и вам удастся вздремнуть. Жаль, что таким господам, как вы, приходится проводить этот день в дороге, но что касается нас, проводников...

Он вздохнул, понимая, что говорит уже слишком много, и это, возможно, не отвечает настроению господ. Он протянул Чжану второе полотенце. Тот сомневался, стоит ли брать, но вспомнил, что еще не протирал волосы, после стрижки. Протерев волосы, которые показались ему очень жесткими, он почувствовал облегчение. Цяо от второго полотенца отказался и принялсяковырять зубы своими, теперь уже чистыми ногтями.

— Что-нибудь не в порядке с отоплением? — спросил Чжан, возвращая полотенце.

— Открывать окно я вам все же не советую — наверняка простудитесь. А дело в том, что дорогой вообще мерзко управляют, — перед ним лежал великолепный шанс вновь завязать разговор, и он не приминул им воспользоваться. — Заставляют работать круглый год, отдохнуть нельзя даже под Новый год. Но стоит ли говорить об этом?

Поезд остановился на маленькой станции. Из вагонов третьего класса посыпались пассажиры с корзинами и сумками. Некоторые вдруг останавливались на перроне, точно вспоминая, не забыли ли чего в вагоне. А те, кто остался в поезде, прижимали носы к стеклам, смотрели на сошедших с нескрываемой завистью и каким-то беспокойством.

Из вагона второго класса никто не вышел, напротив — село полдюжины солдат. Тяжелые башмаки грохотали по полу, кожаные ремни и пряжки блестели в свете фонарей. Их багаж состоял из четырех больших ящиков ракет для новогоднего фейерверка, завернутых в красную бумагу с наклеенными золотыми иероглифами. Ящики были такие большие, что солдаты не знали, куда их девать. Башмаки громыхали, солдаты суетились, голоса их становились громче. Наконец командир батальона распорядился: ящики положить на пол. Взводный повторил приказание. Солдаты, попарно обвязав ящики ремнями, расположили их в проходе. Выполнив приказ, они вытянулись в струнку и прищелкнули каблуками. Батальонный подал им знак уходить. Снова

загромыхали башмаки. Облако серых фуражек, гимнастерок и сапог закружилось. Раздался приказ: «Бегом!» — и солдаты вмиг исчезли. Приглушенно загудел паровозный гудок. Замелькали блики и тени, застучали колеса, и поезд медленно отошел от станции.

Проводник ходил по проходу, что-то высматривая. Он взглянул на военных, затем на груды ящиков с ракетами, загромоздивших проход, но ничего не сказал. Он снова разговорился с маленьким Цуем, снова вернулся к своей старой теме, но теперь уже не опуская деталей, что, видимо, доставляло ему особое удовольствие. Маленький Цуй рассказывал о каких-то девицах.

Ящики с ракетами смущали проводника. Он опять стал ходить по проходу. Батальонный командир улегся, положив на маленький столик перед собой пистолет и ремень. Взводный пока не решался последовать его примеру, но он уже снял фуражку и причесывал волосы. Проводник не осмелился побеспокоить старшего и, сияя улыбкой, обратился к взводному:

— Да, чуть не забыл. Не кажется ли вам, что ящики было бы лучше поставить на полку?

— Почему? — спросил взводный, продолжая причесываться.

— Знаете, кто-нибудь еще наступит на них, — точно черепаха, вобрав голову в плечи, ответил проводник.

— Никто не посмеет к ним притронуться. Да и кому это придет в голову — наступать на них!

— Вот именно, — поспешно заулыбался проводник. Лицо его вдруг стало маленьким, будто сплющилось под тяжестью громадной невидимой силы. — Конечно, конечно. Не имеет никакого значения, где они лежат. Позвольте спросить, далеко ли направляетесь?

— Если ты еще вздумашь ко мне приставать, — повысил голос взводный, — то я... Он не договорил, но было очевидно, что этот вышколенный младший офицер лишен чувства юмора и в самом деле может пустить в ход кулаки.

Проводник исчез: он понял, что дальше шутить опасно. Проходя мимо Чжана, погруженного в дружескую беседу с Цяо, он сказал:

— Сейчас будет проверка билетов.

Появились контролеры. На первом была фуражка с золотой каймой; он был белолицый, строгий. На втором была такая же фуражка, но он был смуглолиц и все время улыбался, будто сочувствовал всем, кого задела строгость первого. Войдя в вагон второго класса, второй контролер радостно улыбался, лицо первого оставалось еще слегка вытянутым, каким оно было в вагоне третьего класса. Ясно, что, когда дойдут до первого класса, оба будут улыбаться до ушей.

Контролеров сопровождала охрана: великан из Тяньцзиня с пистолетом на ремне и великан из Шаньдуна, тоже с пистолетом и с длинным ножом. Последним шел проводник. Ему мешала голова, которая вертелась во все стороны и которую стоило немалых усилий поддерживать в должном положении.

Группа остановилась напротив Цуя. Все его знали. Бледно-желтое лицо его сразу расплылось в улыбке, точно он оказался в компании близких друзей. Наступил неловкий момент. Первый контролер сморгнул куда-то вдаль, погруженный в размышления. Он автоматически щелкал компостером. Второй кивнул Цую в знак того, что узнал его. Тяньцзиньский великан улыбнулся, но моментально принял серьезный вид, будто повернул выключатель. Шаньдунский гигант поднес пальцы к фуражке. Весь вид его словно говорил: у меня есть кое-что рассказать вам, но подождите минутку, пока кончится вся эта чепуха. Процедура затягивалась.

Проводник, обгоняя группу контролеров, подбежал к господину Гоу.

— Господин Гоу! — сказал он, желая предупредить его, но предводитель процессии контролеров был явно раздосадован этим вмешательством. Он протянул Гоу руку и спросил:

— Как поживает господин управляющий? В такой день затевать дальнюю поездку!

Гоу, чья гордость выиграла от такого почтительного обращения, слабо улыбнулся, пробормотал нечто невнятное, поклонился и снова улыбнулся.

Охрана стояла по бокам главного контролера, вытянувшись, не шелохнувшись, зная, что она не имеет никакого отношения к игре, которая ведется перед их

глазами. Им запрещалось вмешиваться в разговор, но и они старались поддержать собственное достоинство, выпячивая грудь и внимательно наблюдая за происходящим.

Тем временем проводник предупредил Чжана и Цяо, чтобы они приготовили билеты. Оба протянули билеты. Увидев, что у обоих служебный билет, контролер посмотрел на них с почтением. Билет Чжана тотчас был возвращен. На билете Цяо было ясно обозначено, что предъявитель его — женщина. Контролеры совещались между собой, как поступить, ибо было очевидно, что Цяо мужчина. В конце концов они, видимо, пришли к единому мнению: в канун Нового года мужчина отлично мог сойти за женщину. Проводник, держа в знак извинения билет Цяо обеими руками, вернул его хозяину.

Батальонный командир уже похрапывал. Взводный, увидев приближающихся контролеров, растянулся на скамейке, всем своим видом показывая, что всякое вмешательство ему нежелательно. Внимание контролеров привлекли стоящие в проходе ящики. Шаньдунец смотрел на них с нескрываемым восхищением. Группа все же прошла мимо, и, когда первый контролер был уже у двери, он повернулся к проводнику:

— Вам бы следовало попросить их поставить эти штуки на полку.

Проводник молча кивнул, а второй контролер добавил:

— А еще лучше, если бы ты сам это сделал.

На лице проводника появилась усмешка. «Сами, небось, боитесь сказать им. Что же мне остается — только кивать головой, тем более что кивнуть головой и выполнить — вещи разные. К ракетам никто не прикоснется».

Проводив контролеров и вернувшись к Цую, проводник застал его в жалком состоянии. Конечно, Цую потребовалась чашка воды. Проводник тотчас принес воду. Цуй достал что-то из кармана — проводник не мог видеть, что именно, но был уверен, что опиум, — и сжал в левой ладони. Лицо Цуя, блее бумаги, покрылось испариной и стало похоже на луковицу в супе. Он закрыл глаза, прижал ладонь ко рту, сделал глоток воды

и глубоко вздохнул. Вскоре глаза Цуя снова раскрылись, и неизменная улыбка вновь появилась на его бледном лице.

— Это важнее хлеба, — сказал маленький Цуй.

— Конечно, куда важнее, — согласился проводник.

До-мой, до-мой, до-мой, — хором пели колеса, но двигались довольно медленно. Нависало усеянное звездами небо. Горы, деревья, деревни, могилы проносились за окнами. Дым, сажа и искры рвались в небо и тут же исчезали. До-мой. До-мой. До-мой. Прощальные почести уходящему году, приношения богам, поклонение предкам, полоски бумаги с иероглифами, фейерверк, пельмени, праздничный обед, вино — все это вдруг стало реальным, застилало глаза, заволакивало уши, нос, рот. Блаженные улыбки возникали, чтобы тотчас исчезнуть при мысли, что все это еще далеко, а поезд тащится и тащится. До-мой. До-мой. До-мой. Мрак, мрак, мрак. Звездное небо без конца и края. Снежные холмы появляются и исчезают. Бесконечный мрак, нескончаемая дорога, властно вцепившаяся в освещенный яркими огнями поезд, который отчаянно стремится вырваться из окружения темноты. До-мой. До-мой. До-мой.

Чжан снял с полки две бутылки вина.

— Мы с вами теперь друзья, — сказал он Цяо. — Не выпить ли нам? Почему бы не отпраздновать Новый год? — Он протянул Цяо стакан. — Настоящее инкоуское, двадцатилетняя выдержка. На рынке не достанешь. Ну, до дна!

Цяо был слишком вежлив, чтобы отказаться. Он подумал, что надо предложить что-нибудь Чжану. Полез на полку, достал пакет; развязал его и вынул несколько пакетов меньшего размера. В них были сушеные личжи, финики, соевый творог. Он подвинул угощения Чжану.

— Мы друзья, не стоит церемониться, — сказал Цяо.

Чжан взял личжи, и плод хрустнул под его пальцами. Нежный и приятный звук развеселил Чжана.

— Ну как вино?

— Восхитительно! Не встречал ничего подобного! — Цяо даже причмокнул.

Чжан снова налил вина. Лица приятелей покраснели. Языки развязались. Они говорили о семьях, о

службе, о том, как трудно зарабатывать деньги, о железнодорожных билетах, о друзьях. Они чокались, сердца стучали, глаза становились влажными, оба блаженствовали... Стали на редкость щедрыми. Цяо распаковал еще один пакет — с апельсинами. Чжан достал две оставшиеся бутылки.

— Их надо прикончить! Нечего оставлять, мы же теперь друзья!

— Я не силен в выпивке, — сопротивлялся Цяо.

— Чепуха. Двадцатилетняя выдержка. Нежное. Не опьянеешь. Так хотелось богам, чтобы мы стали друзьями. Пей!

Цяо был польщен. Чжан посмотрел на свою бутылку — в ней оставалось уже немного. Он расстегнул воротничок. Капли пота катились по лбу. В глазах мелькали красные пятна, язык отяжелел. Чжану хотелось говорить, но получалось лишь бормотание. Он еще старался сохранить контроль над собой. Попробовал запеть, но из глотки вырвались какие-то хрипы. Ему стало весело.

Цяо выпил лишь половину второй бутылки, но лицо его стало белым как полотно. Он достал сигареты, протянул Чжану. Оба закурили. С сигаретой во рту Чжан откинулся на спинку. Он сопел, как рассерженный бык. Цяо тоже откинулся. Сердце его бешено колотилось.

До-мой. До-мой. До-мой. Стук колес отдавался в ушах Чжана. Все поплыло. Голову швыряло из стороны в сторону. Все кричало и танцевало вокруг. Красные пятна застилали глаза. Вдруг кружение прекратилось, глаза открылись. Совладав с собой, Чжан потянулся за спичками. Закурил и отбросил спичку. Тотчас на столике вспыхнуло зеленоватое пламя. Запахло горящим спиртом. Пламя запрыгало между чашками и бутылками, поползло в стороны. Цяо задремал, но, когда потухшая сигарета вдруг разгорелась сама по себе, проснулся, отшвырнул сигарету и принялся бешено колотить руками по столу, пытаясь потушить пламя. Он опрокинул чашки и бутылки. Языки огня коснулись его пакетов. Чжана он уже не видел — тот был закрыт пламенем. Пламя на столе разыгралось вовсю. Сам Цяо горел. Огонь жег брови, волосы.

Вдруг раздался выстрел. За ним второй, третий, словно началась стрельба из пулемета. Взводный открыл глаза. Выстрелы раздавались прямо под ним. Сыпались снопы искр. Он вскочил и забегал по вагону как сумасшедший. Выстрелы, казалось, раздавались отовсюду — из-под ног, сверху, сбоку. Они оглушали. Батальонный командир проснулся, когда огонь коснулся его. И только он открыл глаза, как одна из ракет выстрелила ему прямо в лицо.

Господин Гоу вскочил. Он взглянул на полку, где лежали его вещи. Огонь уже подкрался к ним. Он схватил богинок и вышиб им окно, чтобы выпрыгнуть. В открытое окно ворвалась мощная струя ветра, и пламя совсем одичало. Его постель, шуба с меховым воротником, коробки и пакеты — все поглотило пламя. А поезд мчался вперед, неистово надрывался ветер, стреляли ракеты. Гоу заметался, как раненый зверь.

Маленький Цуй, привычный путешественник, слышал звуки выстрелов, но ему не хотелось открывать глаза. Огонь достиг его ног и пополз вдоль тела. Цуй сел на постели. Вокруг нельзя было ничего разглядеть. Ракеты стреляли, опиум, который Цуй вез на себе, стал таять и подгорать. Блаженный аромат достиг ноздрей. Ноги Цуя не двигались. Огонь пылал уже на груди. Вся его фигурка потонула в пламени. Эта гигантская курильница опиума пылала, пока не превратилась в маленький кокон.

Чжан был мертвецки пьян и лежал как бревно. Гоу и взводный метались словно безумные. Батальонный командир стоял на коленях и вопил от боли. Огонь был уже повсюду. Запах горевшей краски разъедал горло. Ракеты больше не стреляли. Шум затих, все застилал густой дым. Те, кто бежал, остановились, кто кричал — замолкли. Огонь уничтожил все без разбору. А поезд несся вперед, и неистово выл ветер. Клубы дыма бились из стороны в сторону в поисках выхода. Огневые языки рвались в окна. Весь вагон был сплошное пламя.

Поезд замедлил ход и въехал на маленькую станцию, но не остановился. Путевой мастер повернул рычаг стрелки и только после этого сказал себе: «Пожар!». Сигнальщик включил зеленый фонарь и сказал: «Пожар!».

Охрана станции внимательно проводила глазами поезд. «Пожар!» — подумал каждый, но никто не двинулся с места. Пока сбегали за начальником станции, поезд уже удалялся. Полупьяный начальник увидел огонь, но счел это за мираж. Сигнальщик выключил сигнал, обходчик перевел обратно стрелку, охрана с винтовками вернулась в свое помещение. Каждый рисовал в уме картину пожара, но никто не мог в это поверить. Постепенно о пожаре все стали забывать и начали думать о приближающемся празднике, зажгли хлопушки, стали играть в мацзян *. Все шло своим чередом.

Миновав станцию, поезд прибавил скорость. Пламя бушевало, и завывал ветер. Вокруг рассыпались брильянтовые брызги. От вагона второго класса остался один остов. Пламя набросилось на соседний вагон...

— Пожар!

Все кричали и метались в ужасе. Люди выламывали окна, пытались спастись, выпрыгивали на ходу, носились по проходу, сталкивались, падали, поднимались и снова падали. Другие сидели в оцепенении. Всякое усилие казалось напрасным. Люди закрывали руками лицо, отмихивались от огня одеждой, одеялами.

Огонь нашел новое поле деятельности с громадными ресурсами и большим числом людей. Он сходил с ума от радости. Он то лизал языком, то крался, пряча третий язык в дыму, и врывался четвертым в окно. Пятый входил уже без определенной цели. Шестой соединял все языки вместе, и сотни языков начинали тогда фантастическую пляску. Они крутились, обрушивались, как метеоры, образовывали красно-зеленые озера огня, то сверкали ослепительным светом, то прятались в дыму, чтобы тотчас вновь возродиться из дыма. Огонь пожирал людей. Это была настоящая кремация.

Поезд подошел к станции, где он должен был остановиться по расписанию. Сигнальщики, кондуктора, охрана, начальник вокзала и его помощник изумленно смотрели на горящие вагоны. Они не могли ничего предпринять: на станции не было ни пожарных машин, ни на-

* Мацзян — распространенная на Дальнем Востоке азартная игра в кости.

сосов. Вагон второго класса и два соседних вагона третьего сгорели. От них лениво и безразлично поднимался в небо голубоватый дым.

Потом стало известно, что в сгоревших вагонах найдено пятьдесят два трупа. Одиннадцать нашли вдоль линии.

После праздника Фонарей*, на пятнадцатый день после Нового года, прибыл инспектор. Первые три дня он присутствовал на официальных приемах, и у него оставалось мало времени на расследование. Следующие три дня он занимался какими-то личными делами, не терпящими отлагательства. Затем началось расследование.

Охрана поезда не знала ничего. Первый контролер не знал ничего. Второй контролер не знал ничего. Ни великан из Тяньцзиня, ни великан из Шаньдуна не могли ничего сообщить о причинах пожара. Ничего не знал и проводник. Сообщения со станций о количестве проданных билетов сверили с числом билетов, собранных на конечной станции. Количество совпадало, если учесть, конечно, шестьдесят три погибших. Ни с одной станции не поступило сообщений о продаже билетов во второй класс, следовательно, сгоревший вагон второго класса был пуст, и пожар в нем возникнуть не мог.

Снова допросили проводника. Он заявил, что ничего не знает, — пожар возник, когда он уходил в вагон-ресторан. Инспектор решил, что он лжет и должен быть наказан за оставление поста. Проводник был уволен со службы.

Инспектор представил свой отчет с подробным рассказом о трагедии, написанным в превосходном стиле.

— А мне наплевать, — сказал проводник жене. — Заставляют работать в ночь под Новый год, а потом, если что случится, считают, что мы должны помирать с голоду, но не покидать вагона.

— Все это чепуха, — отозвалась жена. — Меня это совершенно не беспокоит. Другое дело: капуста, которую ты вез мне, сгорела.

* Праздник Фонарей — праздник, отмечаемый вскоре после Нового года по лунному календарю.

СТАРАЯ ФИРМА

После ухода управляющего Цяня у Синь Дэ-чжи — старшего приказчика в «Тройном Счастье» — прибавилось забот, некогда было даже поест. Управляющий Цянь был общепризнанным знатоком своего дела — торговли шелками, а «Тройное Счастье» было всем известной старой фирмой. Синь Дэ-чжи выучился мастерству у Цяня. Но боялся он не за себя. Он и сам не мог бы сказать, отчего ему так страшно, казалось, будто Цянь унес с собой что-то такое, что уже никогда не вернется.

Управляющим стал Чжоу, и Синь Дэ-чжи понял, что его страхи были не напрасны; тут уж было не до молчаливых переживаний — в пору было выйти из себя. Чжоу оказался настоящей потаскухой, «Тройному Счастью» — старой фирме, существующей столько лет! — предстояло теперь заманивать к себе покупателей с улицы! Рот Синь Дэ-чжи презрительно кривился, словно разварившийся пельмень. Прежнее умение, прежние порядки, прежняя марка — все ушло вместе с Цянем и никогда не вернется. Цянь, такой прямой, честный, пунктуальный, вел торговлю в убыток. А хозяевам к концу года лишь бы прибыли побольше.

Столько лет в «Тройном Счастье» неизменно поддерживался строго официальный тон: черные иероглифы на золотом фоне, внутри — зеленая отделка, черные прилавки, синие холщовые занавески, скамейки, покрытые синим сукном, на чайном столике — всегда свежие цветы. Столько лет «Тройное Счастье» избегало всякого неподобающего шума и пестроты — лишь на праздник Фонарей вывешивались четыре больших фонаря с красными кистями. Столько лет в «Тройном Счастье» не торговались, не вывешивали объявлений о распродаже, не снижали каждые полмесяца цен — «Тройное Счастье» берегло честь фирмы. Столько лет здесь не принято было курить сигареты и громко разговаривать; тишину нарушали только журчание кальяна и кашель старого управляющего. Всему этому и еще великому множеству других старых правил и привычек с приходом Чжоу — Синь Дэ-чжи видел это — наступал конец! Даже глаза у Чжоу были не такие, как подобало, — он не опускал

век, его зрачки будто выслеживали разбойников и все подметали, как метлой. А Цянь всегда сидел на скамье, смежив веки, но стоило кому-нибудь из приказчиков не так дохнуть — и он тотчас это замечал.

Не прошло и двух дней с момента появления Чжоу, а «Тройное Счастье» уже превратилось в балаган: перед дверьми соорудили аляповатый, пестрый рекламный щит с саженной надписью «Большая распродажа». Два газовых фонаря бросали зеленоватый отблеск на лица прохожих. У входа с рассвета дотемна гремела музыка, четверо учеников в красных шляпах вручали прохожим приглашения. Мало того, двух учеников приставили угощать клиентов чаем и сигаретами. Даже тех, кто покупал полвершка холста, приглашали за прилавок и угощали сигаретой: курили все — солдаты, подметальщики улиц, служанки; дыму было, как в буддийском храме. Но и это не все. Тот, кто покупал вершок, — получал вершок вдобавок, да еще куклу. Приказчики обязаны были развлекать клиентов разговорами. Если в лавке не оказывалось нужного покупателю товара, нельзя было говорить, что этой ткани нет, а следовало, вытащив другой образчик, настойчиво просить взглянуть на него. Тому, кто приобретал товару на десять юаней, покупку отвозил домой ученик, для этого лавка теперь имела два старых, полурасшатанных велосипеда.

Синь Дэ-чжи хотелось пойти и выплакаться где-нибудь всласть! Больше пятнадцати лет провел он за прилавком и никогда не думал — не говоря уж о том, чтоб увидеть своими глазами, — что «Тройное Счастье» может докатиться до такого позора! Как теперь смотреть людям в глаза? Кто раньше в околотке не уважал «Тройное Счастье»? Когда приказчики выходили вечером из лавки, неся большие фонари с иероглифами «Тройное Счастье», даже полицейские смотрели на них как-то по-особенному. И хотя в годы военных смут и потрясений «Тройное Счастье» тоже обдирали дочиста, но все же не так, как соседние лавки, где уносили даже двери и вывеску. «Здесь не торгуются»: эта золоченая вывеска «Тройного Счастья» внушала уважение!

Уже больше двадцати лет Синь Дэ-чжи жил в городе, из них шестнадцать — при лавке «Тройное Сча-

стье». Она стала его вторым домом, здесь он усвоил манеру говорить и кашлять и даже покроем своего халата из синего сукна. «Тройное Счастье» было его гордостью. Когда он ходил собирать долги с клиентов, его всегда приглашали выпить чашку чаю; «Тройное Счастье» было торговым заведением, но с постоянными клиентами всегда было на дружеской ноге. Управляющий Цянь принимал участие во всех их радостях и горестях. Это было заведение высокореспектабельное: на скамейках у его дверей сиживали именитейшие люди округи. Когда на улице происходило что-нибудь интересное, родственницы постоянных клиентов приходили сюда занять удобное местечко. Душа Синь Дэ-чжи сроднилась с блистательной историей фирмы. А что теперь?

Конечно, и Синь Дэ-чжи понимал не хуже других, что времена изменились. Столько хозяев соседних лавок уже отказались от старых привычек, о новых лавках и говорить нечего — они о прежних порядках и понятия не имели. Он это знал. Но из-за этого еще больше любил «Тройное Счастье», еще больше гордился им. Если и «Тройное Счастье» спустит флаг — настанет конец света! Увы, теперь «Тройное Счастье» стало такой же, как и все лавки, если не хуже!

Больше всего Синь Дэ-чжи ненавидел расположенную напротив лавчонку «Неподдельные Благоухания». Хозяин вечно ходил в стоптанных туфлях, с сигаретой, сверкая золотыми зубами. Хозяйка таскала младенцев на спине, на руках, чуть ли не в карманах. Стайка мальчишек и девчонок целыми днями с криком, писком и щебетанием бегала взад-вперед. В лавке хозяева бранились, в лавке шлепали детей, там же хозяйка кормила их грудью. Было непонятно, торгуют они или развлекаются... А приказчики — неизвестно, откуда и выискались такие, — все в рваных башмаках, зато чуть не каждый расхаживал в шелковом халате. Одни мазались мазью от загара, у других волосы блестели, словно лак, кое-кто даже носил золотые очки. И что еще было противно: в конце года всегда объявлялась большая распродажа, вывешивались газовые фонари, заводился патефон. Того, кто покупал сластей на два юаня, хозяин собственноручно угощал соевой конфетой, и попробуй откажись — он

мог насильно запихнуть ее покупателю в рот! Ни на один товар не было твердых цен, иностранные деньги тоже ходили без твердого курса. Синь Дэ-чжи всегда косо поглядывал на вывеску «Неподдельных Благоуханий» и никогда туда не ходил. Он не мог смириться с тем, что на свете может быть подобное торговое заведение да еще напротив «Тройного Счастья»!

Как это ни странно, «Неподдельные Благоухания» процветали, а дела «Тройного Счастья» ухудшались с каждым днем. Синь Дэ-чжи не мог понять, в чем тут причина. Неужели только тогда добьешься удачи, когда торгуешь не по правилам? Зачем же в таком случае учиться? Ведь этак и всякий мог бы торговать! Нет, что-то здесь было не так, явно не так: уж во всяком случае «Тройное Счастье» не опустится до этого!

Кто мог знать, что явится Чжоу и «Тройное Счастье» с «Неподдельными Благоуханиями» станут близнецами, будут сообща освещать улицу газовыми фонарями! «Тройное Счастье» и «Неподдельные Благоухания» — близнецы?! Такое могло присниться только во сне. Увы, это был не сон, ведь Синь Дэ-чжи самому пришлось теперь учиться у Чжоу! Он тоже обязан был точить ляды с клиентами, предлагать им сигареты, подманывать их к полкам с товаром, должен был выдавать подделку за настоящий товар, уступать каждый лишний дюйм только после ожесточенной торговли с покупателем; ему приходилось искусно манипулировать, отмеряя ткань — если ее придержать пальцем, можно было выгадать целый кусок! Все это было невыносимо!

Но большинству приказчиков нововведения, казалось, даже нравились. Когда в лавку входила покупательница, они окружали ее, и создавалось впечатление, что им не терпелось показать ей все имеющееся в лавке. А когда она что-нибудь покупала — даже если это был вершок дерюги, — каждому хотелось проводить ее до дому. Управляющий Чжоу был доволен; наверное, он был бы рад еще больше, если бы приказчики могли кувыряться, показывать фокусы или летать по воздуху.

Чжоу и хозяин «Неподдельных Благоуханий» стали друзьями. Иногда заходили сыграть партию-другую в мацзян и люди из «Небесного Совершенства». Эта лавка

шелков открылась лет пять назад на той же улице, но управляющий Цянь не поддерживал с ней никаких отношений. «Небесное Совершенство» соперничало с «Тройным Счастьем» и во всеуслышание заявляло, что раздавит его непременно. Цянь в ответ на это не проронил ни звука, только потом как-то сказал:

— Доброе имя — превыше всего.

А в «Небесном Совершенстве» все триста шестьдесят пять дней в году были юбилейными, с большой распродажей. И вот теперь люди из «Небесного Совершенства» тоже стали приходить играть в кости! Синь Дэ-чжи не мог их видеть. В свободную минутку он уходил за прилавок и сидел неподвижно, уставившись на полки, — в прежнее время каждая штука шелка была завернута в белую холстину, теперь каждый кусок был выставлен напоказ, весь на виду — сверху донизу — в глазах рябило от этой пестроты! «Нет больше „Тройного Счастья“», — повторял про себя Синь Дэ-чжи.

Однако спустя три месяца и он не мог не воздать Чжоу должного. Можно было подвести итоги: прибыли не было, но не было и убытков. Чжоу, смеясь, разъяснял:

— Не забывайте, что это только начало! У меня еще масса неиспользованных возможностей. Опять же — надо было поставить рекламный щит, взять напрокат фонари — все это стоит денег. Так-то вот!

Он любил в нужный момент вставить это свое «так-то вот!»

— Потом, когда щит уже не понадобится, найдем средства поновее, поэкономнее, тогда будет и прибыль, так-то вот!

Синь Дэ-чжи понимал, что Цяню уже не вернуться; мир и вправду переменился. Чжоу был из того же племени, что и хозяева «Небесного Совершенства» и «Неподдельных Благоуханий», и все они процветали.

Спустя некоторое время развернулась шумная кампания бойкота японских товаров. Чжоу закупал их множество. Уже начали ходить инспекционные группы, а Чжоу велел выложить японские ткани на самом видном месте и распорядился:

— Когда войдет покупатель, первым делом предлагайте ему японские ткани; в других местах ими торговать

боятся, и мы хорошо заработаем. Деревенским можете прямо говорить, что товар японский, они это и так знают; а горожанам говорите, что немецкий.

Пришла инспекционная группа. Из глаз улыбающегося Чжоу, казалось, вот-вот выпорхнут бабочки; он предложил гостям сигарет, чаю.

— Само название «Тройное Счастье» говорит, что здесь японскими товарами не торгуют, так-то вот! Взгляните, господа! У входа — шелка немецкие и отечественные, на полках — только отечественные, фирма имеет отделение на юге — продает отечественные товары собственного производства.

Гости с сомнением смогли на пестрые ткани. Чжоу усмехнулся:

— Чжан Фу-лай, достань-ка из-за прилавка кусок японского шелка — тот, что остался.

Шелк принесли. Чжоу потянул начальника инспекционной группы за рукав:

— Господин, говорю не кривя душой, только этот кусок и остался. Видите? Материя точь-в-точь, как на вашем халате, так-то вот! -- И, обернувшись: — Фу-лай, а теперь выкинь это на улицу!

Начальник группы взглянул на свой халат и вышел, не поднимая головы.

Эта партия японских тканей, которая могла, когда нужно, превратиться в немецкий, китайский или английский товар, принесла лавке порядочный куш. Иногда среди покупателей попадался знаток и на глазах у Чжоу бросал ткань на пол; тогда Чжоу, усмехнувшись, приказывал ученикам:

— Ступайте, принесите настоящий западный товар, вы же видите, что господин разбирается в тканях.

И, обращаясь к покупателю, говорил:

— Каждому подавай свое, дашь другое — и даром не возьмет, так-то вот!

Таким образом совершалась очередная покупка, а посетителю, казалось, было жаль расставаться с Чжоу.

Синь Дэ-чжи ясно видел, что если рассчитываешь на прибыль в торговых делах, надо обладать талантом актера и фокусника. Чжов был фигурой, но работать при нем Синь Дэ-чжи не хотел, и чем больше он восхищался

Чжоу, тем тяжелее было у него на душе. Кусок не шел ему в горло. Чтобы спать спокойно, следовало, пока не поздно, расстаться с «Тройным Счастьем».

Но управляющий Чжоу не стал дожидаться, когда Синь Дэ-чжи подыщет себе другое место, и сам ушел к хозяевам «Небесного Совершенства». Там нужны были такие люди, и Чжоу ушел охотно: старые привычки в «Тройном Счастье» слишком укоренились и не давали ему возможности развернуться как следует.

Расставшись с Чжоу, Синь Дэ-чжи почувствовал, что выздоравливает.

Шестнадцатилетняя служба в должности приказчика давала ему право обращаться к хозяевам с советами, хотя к его словам и не всегда прислушивались. Синь Дэ-чжи знал, кто из хозяев консервативнее, знал, чем их можно пронять. Он будет добиваться возвращения Цяня, заручившись поддержкой его друзей. Он не станет говорить, что у Цяня все хорошо, а скажет, что и у Цяня и у Чжоу есть свои достоинства; нужно держаться золотой середины: нельзя мертвой хваткой цепляться за старые обычаи, чураясь новшеств, но и не следует слишком усердствовать в нововведениях. Главное — блюсти репутацию фирмы. Доброе имя и прибыли — Синь Дэ-чжи знал, что такое сочетание заденет хозяев за живое.

А втайне Синь Дэ-чжи думал о другом. Вернется Цянь — и с ним возвратится все остальное. «Тройное Счастье» должно стать прежним «Тройным Счастьем», иначе все пойдет прахом. Синь Дэ-чжи подсчитал: если отказаться от газовых фонарей, джаза, рекламы, объявлений, сигарет, а в крайнем случае еще уволить кое-кого — вероятно, удастся сэкономить немалую сумму. Товар в лавке отпускаться будет добротный, полной мерой — можно иногда и со скидкой — без особого шума, конечно. Да неужели у покупателей нет глаз?!

Управляющий Цянь действительно вернулся. На улице остались только газовые фонари «Неподдельных Благоуханий», а в «Тройном Счастье» воцарилось прежнее безмолвие, хотя по случаю возвращения Цяня и были вывешены четыре праздничных фонаря с большими красными кистями.

В тот самый день, когда в «Тройном Счастье» выве-

сили фонари, у входа в «Небесное Совершенство» поставили двух верблюдов, увешанных разноцветными шелковыми лентами. На их горбах мигали цветные лампочки. Рядом устроили лотерею — по одному мао* с носа; когда набиралось десять человек, начинался розыгрыш, за один мао можно было выиграть кусок шелка новой расцветки. У дверей «Небесного Совершенства» нельзя было протолкнуться. И действительно, находились счастливчики, с довольным смешком уносившие под мышкой по куску модного шелка!

Скамейку перед дверьми «Тройного Счастья» снова покрыли синим сукном, и управляющий Цянь сидел на ней, не поднимая век. Приказчики притихли в лавке, одни еле слышно передвигали костяшки на счетах, другие долго, мучительно зевали. Синь Дэ-чжи молчал, но на душе у него было беспокойно: за весь день ни одного покупателя. Иногда кто-нибудь как будто и захочет войти, но, взглянув на строгую золоченую вывеску, отправляется в «Небесное Совершенство». А иной войдет, посмотрит на товары, на объявление «У нас не торгуются» — и уйдет с пустыми руками. Зашли лишь несколько старых клиентов, да и те поболтали с управляющим, повздыхали о трудных временах, выпили чашку чая и ушли. Синь Дэ-чжи любил послушать их разговоры, они напоминали о добром старом времени, но он понимал, что доброе старое время вряд ли вернется; на этой улице только «Небесное Совершенство» могло теперь называться торговым предприятием!

Через несколько месяцев пришлось рассчитать некоторых служащих. Синь Дэ-чжи, глотая слезы, сказал Цяню:

— Не беда, я один справлюсь за пятерых!

И старый управляющий тоже сказал:

— Не беда!

В ту ночь Синь Дэ-чжи крепко спал: ведь на другой день ему предстояло работать за пятерых приказчиков.

А еще через год «Тройное Счастье» было окончательно раздавлено «Небесным Совершенством».

* Мао — денежная единица, равная одной десятой части юаня.

ПРОСТАЯ ПРИЧИНА

Всякий, кто приезжал на ферму Шухуа, забывал о войне, с ее бомбежками, убийствами и разрушениями. По живописности здешние места могли поспорить с «персиковым источником» *. Впереди из небольшого ущелья выбегала река, такая голубая и прозрачная зимой и весной, что каждого так и подмывало окунуться в ее воды. Позади тянулась гряда холмов. На них ничего не было, кроме зарослей бамбука и низкорослых деревьев; среди бамбука и деревьев, как мазки, сделанные кистью художника, проглядывали рыжие пятна земли.

В седловине одного из холмов, среди сплошной зелени, виднелись белые стены и две-три крыши. Это и была ферма Шухуа. На речной переправе, в полкилометре от фермы, пассажиры, переправляясь в лодке на противоположную сторону, всегда любовались этим красивым местом. А если бы они еще поднялись на дорогу, косо бегущую по склону, то, наверное, вскрикнули бы от восторга, увидев желтеющие апельсины, и мандарины, и красные яблоки. Когда весной все цвело, горожане считали прогулку в Шухуа одним из изысканных развлечений, и, надо думать, красота фермы не раз была воспета в стихах и прозе.

Но ферму построили не для того, чтобы любоваться. Она была отлично обеспечена водой, потому что река была под боком. И продукты вывозить было нетрудно: ферма находилась в каких-нибудь тридцати ли от Чунцина, можно было перевозить товар в лодках по реке, по берегу тоже пролегла дорога. Хозяйство фермы было немалое: пруд с гусями и утками, крольчатники, цветники, огороды, сады, скотный двор. Утиные яйца, цветы, овощи, фрукты, молоко — все было необходимо Чунцину. Ферму организовали в начале антияпонской войны: население города росло день ото дня, день ото дня росла и нужда в овощах и в других продуктах. Ферма обещала стать очень доходной.

* «Персиковый источник» — название утопии великого китайского поэта IV—V вв. Тао Юань-мина; в переносном смысле — мирный, цветущий оазис среди всеобщих бедствий и смуты.

Налево от дороги, прелегавшей по склону берега реки, лежало несколько уже почти выветрившихся красных камней. Рядом поднималась поросль молодого бамбука. Отсюда на ферму вела тропа, выложенная плитами из светлого камня. Напротив бамбуковых зарослей росли две сосны, на соснах висели две грубо оструганные доски со сверкающей на солнце надписью: «Ферма Шухуа». Все пространство между рекой и тропой сплошь поросло цветами. По другую сторону тропы, по направлению к холмам, тянулись виноградники — множество лоз поднималось на веерообразных подпорках; за виноградниками росли плодовые деревья. В конце тропы возвышалась невысокая, но довольно широкая арка из тростника: это и были ворота фермы; на них красовалась надпись «Шухуа». Войдя в ворота, на зеленых лужайках и на пестрых дорожках из битого камня — повсюду можно было увидеть утиные перья: по левую руку от ворот был пруд, в котором обитало множество белых жирных уток — настоящих пекинок. Напротив пруда тянулась ровная насыпь, на которой росли цветы и овощи. В конце насыпи, в тени бамбуков, находилась контора. Это было красивое двухэтажное здание, наполненное ароматом цветов и плодов. За домом были хижины рабочих и скотный двор, оттуда постоянно слышалось жалобное блеяние ягнят.

Чтобы управиться с хозяйством, ферме требовалось не меньше двадцати рабочих — расход немалый. И все же ферма должна была приносить прибыль — это было ясно и специалисту и профану.

Но ферма Шухуа давала убыток.

При создании ее, конечно, потребовались кое-какие капитальные затраты. Но куры и утки, овощи, цветы, молоко — все это быстро приносит доход. По расчетам специалистов, если не на второй, то уж к началу третьего года можно было с полной уверенностью ждать доходов.

Однако ферма Шухуа приносила убытки даже на третьем году существования. На первом в этом году заседании пайщиков директор и пайщики просто оцепенели при виде приходо-расходных книг.

В причины этого директор не вдавался, он был всего

лишь одним из крупных пайщиков, которые и выдвинули его на этот пост. У него было еще множество других дел, куда более важных. И достаточно ему было, выйдя во двор, увидеть красоту цветов и трав, чтобы тут же забыть об убытках фермы. Но сейчас, на собрании акционеров, ему было неловко. Всеми уважаемый делец, он верил в свои способности, везде умел делать деньги. Убытки на ферме? Это задевало его самолюбие. В конце концов убытки могли быть и у него и у других — не в этом дело: речь шла о репутации! Это было куда важнее!

Что касается пайщиков, то большинство из них придерживались той же позиции, что и директор. Правда, их собственная репутация, капиталы и таланты, пожалуй, не могли тягаться с директорскими, но уж если директор сохранял присутствие духа, имея восемь-десять тысяч убытка, то они тоже предпочитали помалкивать. Лишь немногие пайщики рассчитывали сразу же окупить свои расходы, но и они не торопились задавать вопросы. Их пай был невелик, они занимали скромное положение; их бестактные выступления могли вызвать неудовольствие директора и крупных пайщиков, а это было бы серьезнее любого убытка.

В действительности же, если бы все захотели говорить откровенно, они могли бы единодушно, без колебаний, тут же указать причину убытков. Причина была простая — плохие работники. Директор, несмотря на свой пост, не мог, не хотел, не умел, наконец, гнушался лично следить за делами на ферме. Акционеры тоже не могли часто бывать на ферме — они приезжали лишь на собрания, да и то скорее как туристы: повосхищаться деревенскими пейзажами, выпить по рюмочке с друзьями и заодно разузнать, как обстоят дела у коллег. Для большинства пайщиков извещения о собраниях были приятной неожиданностью: будто роешься в сундуке, чтобы переодеться к празднику, и вдруг случайно находишь там неизвестно кем положенную ассигнацию: «Это еще что такое?».

Фермой управлял Дин У-юань, он же «управляющий Дин». Дин У-юань заведовал фермой уже с полгода. Именно в эти полгода ферма и стала убыточной.

И директор и пайщики отлично знали, что если бы истина однажды сорвалась с их уст, стоило бы им только произнести: «Причина убытков заключается в...» — и пальцы их сами собой безошибочно указали бы на Дин У-юаня, сидевшего тут же, рядом!

Но никто не раскрыл рта, и пальцы ни у кого не шевельнулись. Кто из них — от директора до последнего пайщика — не пробовал мяса крупных пекинских уток с фермы, жирных кур итальянской породы, консервированных яиц с янтарным желтком и просто куриных и утиных яиц, таких больших, что дети при виде их прыгали от радости? В чьих вазах не красовались выращенные на ферме цветы корицы на длинных стеблях, розовая слива, вздымавшиеся башнями гортензии, пионы и цветы чайного дерева? В чьих чашках не побывали шаньдунская капуста, приводившая гостей в восхищение, изумрудно-зеленая сурепица и нежный, молодой горошек? Кто посылал им все это? Дин У-юань!

А если у кого в доме случалась радость или беда, не Дин ли прибежал первым? А если у кого бывали неприятности, не Дин ли, подобно небесной фее, умел крупную неприятность превратить в мелкую, а мелкую вовсе свети на нет?

Да, управляющий Дин сидел тут же, рядом. Но кто решился бы указать на него пальцем?

Так собрание и не обсудило ни одного важного вопроса, так и не изыскало спасительных мер. А после банкета, устроенного Дином, все только похлопали управляющего по плечу и разъехались по домам.

Откуда появился Дин У-юань? Никто не знал. Как-то так получилось, что все без исключения — и местные, и пришлые — оказались его земляками. Свою речь он пересыпал ходовыми словечками тех мест, в которых побывал, — сычуаньскими, шанхайскими, пекинскими... Получался своеобразный, единственный в своем роде «общенародный язык»; иногда в его речи даже слышалось что-то, отдаленно напоминавшее английское «yes».

Лет сорока с небольшим, светлокожий, среднего роста, с чуть располневшим лицом, Дин У-юань не был красавцем, но несомненно обладал обаянием. Приятно было смотреть на его сияющее лицо, а его живые, свер-

кающие глаза, весь его подвижный облик, так точно передававший любой оттенок настроения, вызывали восхищение и располагали к доверию. Но лучше всего выражала характер управляющего и в то же время служила предметом бесконечных восторгов его одежда. На любой его халат — шелковый или из грубой ткани, без подкладки или на вате — всегда приятно было взглянуть; всегда он казался и новым и в то же время чуть поношенным, всегда казался немного просторным, так что любая поза хозяина — опускал ли он руки, держал ли их в карманах или за спиной — была свободной и непринужденной. Воротник и манжеты куртки всегда были белоснежны; если даже на халате встречалось пятнышко или полы были чуть помяты, воротник и манжеты говорили о том, как любит хозяин чистоту. Он всегда ходил в мягких войлочных туфлях на толстых белых подошвах и подвязывал штанины шаровар шелковыми ленточками; при быстрой ходьбе белые подошвы и мелькающие ленточки, казалось, делали его походку еще более легкой и стремительной; когда же он шел медленно, они придавали его походке особое изящество и достоинство. Халат, туфли на войлочной подошве, шелковые подвязки на шароварах производили впечатление некоторой старомодности; чтоб сгладить это впечатление, Дин всегда имел при себе паркеровское вечное перо и сверкавший на солнце карандаш.

Он постоянно что-нибудь говорил, ухитряясь при этом ничего не сказать. Он искусно вставлял в чужую речь словечки вроде «конечно», «еще бы», «ну что ж», с таким видом, будто сказал очень много. А если было нужно, мог обойтись и без этих словечек — только вращал глазами, или слегка покусывал губы, или стряхивал пепел с одежды собеседника. Эти жесты выражали внимание, участие, сочувствие. Эффект, производимый ими, был намного сильнее слов. Столкнувшись с каким-нибудь серьезным вопросом, Дин У-юань всегда уверенно заявлял: «О чем говорить, дело ясное!». Сказав это, он тут же откладывал дело в сторону, начинал болтать о лустяках, и проситель сразу же забывал о своих заботах и нуждах. Когда успокоенный проситель уходил, голова Дина клонилась к столу, он тут же засыпал и мог про-

спать три-четыре часа кряду, а проснувшись, забывал это «ясное дело» начисто. Когда проситель приходил снова, управляющий вспоминал, что такой разговор действительно был, и, провожая просителя, повторял свои горячие заверения. Дело же, как правило, снова откладывалось в сторону. И когда проситель уже выходил из себя, управляющему приходилось восстанавливать дружбу при помощи продуктов, производившихся на ферме. Видимо, все дела в мире были для Дина «ясными», потому что он никогда ими и не занимался.

Он любил поесть и поспать, умел одеваться, всегда был в отличном настроении. Убеждений у него не было никаких, поэтому и тревожиться было не о чем. Он не мог понять, что дурного в том, чтобы работать для видимости. Он знал только, что, работая папкоз, можно добиться всего, и уж во всяком случае не иметь хлопот и тревог, а спокойно пагуливать жирок. Поэтому он использовал любое средство, при помощи которого можно было создать видимость работы. Едва он получил назначение на должность управляющего фермой, как его тотчас облепили тетушки, свояченицы, свояки и свояки свояков, он сразу же стал единственной надеждой для всей этой оравы. О честном труде в таких условиях не могло быть и речи, оставалось работать только для видимости. И вот несколько опытных рабочих и служащих сразу же получили почетную отставку, а их место заняли свояки и свояки свояков, облюбовавшие себе этот райский уголок.

Неуволенные служащие и рабочие тоже поначалу думали уйти с фермы. Но управляющий Дин не давал им и рта раскрыть. Они известили его о своем уходе письменно — он даже не взглянул на их заявления. Тогда они решили уйти, не прощаясь. Но, когда настало время уходить, в их рядах уже не было прежнего единодушия. Вступив в должность, новый управляющий никакими делами не занимался, но за два дня успел разузнать, как кого зовут на ферме и кто из каких мест.

— Чжан, старина! — радостный взгляд управляющего пронизывал душу Чжана. -- Так ты из Гуаньюаня? Земляк! Ведь надо же!

И Чжан был обезоружен.

— Се, старина! — И мясистая горячая рука управляющего хлопала Се по плечу. — Да что ты говоришь, неужели из Эньши? Славное местечко! Земляки, значит? Ведь надо же!

И Се тоже складывал оружие.

Старожилы были расстроганы, и «уход, не прощаясь» казался им теперь поступком опрометчивым и неразумным. Несколько упрямец, увидев, что товарищи бьют отбой, тоже примолкли, затаив недовольство в глубине души. А когда пухлая рука управляющего добралась и до их плеч, им уже оставалось только из кожи вон лезть перед ним, чтобы как-то искупить свою легкомысленность, ребячливость. «Управляющий — свой парень!» — этого еще не говорили вслух, но мысль уже носилась в воздухе, как птица, выпущенная из клетки.

Доверие к Дину росло. К нему шли с большими и малыми делами, зная, что на все получают быстрый ответ. Не успевал проситель изложить свою просьбу, как уже раз пять слышал в ответ «ладно». Правда, к этим просьбам Дин относился довольно небрежно. Например, перед поездкой в город, — а он постоянно ездил в город — ему поручали привезти несколько кусков мыла. Проситель надеялся, что Дин, как человек ловкий, сумеет купить самый лучший товар по самой дешевой цене. Дин же, приехав в город, шел в самый большой магазин и покупал самое дорогое мыло. Когда он, вернувшись домой, называл цену — проситель подскакивал. «Сам понимаешь, — пояснял управляющий, — товар высшей марки. Подороже заплатишь — зато не нарвешься на обман! Если не хочешь, оставлю себе. Ну, так как?» Где тут было отказываться, оставалось только брать мыло и благодарить.

И ему по-прежнему верили. Размышляя о случившемся, проситель спрашивал себя: ты просил человека привезти тебе мыло, привез он его или не привез? Привез. Стало быть, слово сдержал. Дороговато, но ведь зато хорошее. Конечно, так и всякий сможет купить, зачем было поручать управляющему? Но раз уж ему поручил — неужели такой человек позволит себе толкаться у лотков и препираться из-за цены? Выходит, что ты сам, а не управляющий, во всем и виноват,

Вскоре стало известно, что Дин таким же точно образом устраивает дела директора и пайщиков. Стоит ему услышать, что требуются услуги, — он уже тут как тут, ни одно дело без него не обходится. Если кому-то нужны папиросы — он покупает «Цитадель» или «Три пятерки». Понадобилось вино — приносит «Маотай» или «Бесценную наложницу»*. О деликатесах и говорить нечего, даже засахаренные фрукты — и те из самых дорогих лавок. Заказчикам не к чему придраться. Сноровки у Дина хватало, а перед высокими клиентами он особенно старался себя показать. И заказчикам оставалось лишь восхищаться опытностью Дина. Иногда, правда, жены клиентов были недовольны такой расточительностью, но его подарки и его предупредительность заставляли их молчать. Это молчание вселяло в мужей уверенность, что все сделано как нужно, и Дин еще больше вырастал в их глазах. Директор и акционеры считали управляющего выдающейся личностью, и обитатели фермы не смели роптать: если кто и прогадал из-за него, значит, так тому и быть.

Когда же управляющий Дин пробыл в должности два месяца, не только никто не думал уходить, но стали бояться увольнения. Теперь все предпочитали льстить и угодничать, махнув рукой на совесть, лишь бы не лишиться места.

Родичи управляющего работать не умели и ничего не делали. Прежние рабочие и служащие еще не решались открыто нарушать дисциплину, но уже тоже не работали, как раньше, по восемь часов в день. От восьми часов они самовольно перешли к семи, а затем мало-помалу — к шести и к пяти. Если же управляющий ездил в город, они отдыхали весь день. От длительного бездействия их начинала одолевать скука, и тогда они прибегали к помощи домино и костей; даже мычание голодных коров и бляение овец не могло заглушить веселого смеха и стука костяшек. Однажды в разгар веселья кто-то из игроков оглянулся — за его спиной

* «Цитадель», «Три пятерки» — названия дорогих папирос; «Маотай», «Бесценная наложница» — названия дорогих марок вин и водки.

стоял неизвестно когда и как появившийся управляющий Дин! Все окаменели.

— Ничего, ничего, продолжайте! — сказал управляющий — так мягко, так ласково, что у игроков слезы навернулись на глазах. — Работать так работать, играть так играть! А последнюю кость ты, Чжан, выбросил неплохо!

Потрясенные игроки воспрянули духом, но у некоторых от волнения еще дрожали руки.

Все стали просить управляющего принять участие в игре. Он ни за что не соглашался нарушить очередь. Только дождавшись конца партии, с трудом дал себя уговорить.

— В игре не имеет значения, большой ты человек или маленький, управляющий или садовник, выиграл — забирай выигрыш и уходи, проиграл — терпи! — с улыбкой говорил управляющий, засучивая белоснежные отвороты рукавов.

Никто не возражал. Началась новая партия. Управляющий бросил хорошо. Мало сказать хорошо — блестяще; он выбрасывал кости молча, забыв даже свои любимые словечки. Встряхнув кости, он бросал их тихонько, как бы извиняясь. Когда метали другие, он улыбался, внимательно провожая взглядом каждую кость. Из десяти раз он выигрывал восемь, и чем больше выигрывал, тем выше поднимался в глазах игроков; всем будто хотелось проиграть управляющему и не хотелось, чтобы выигрывал кто-то другой. Проиграть самому управляющему было даже почетно.

Однако вскоре выяснилось, что в почете все же меньше проку, чем в деньгах. Проигравшимся дочиста приходилось где-то добывать деньги. За обычную работу полагалась обычная плата. А играть с управляющим, рассчитывая лишь на свой месячный заработок, нечего было и думать. И хотя на ферме не было отдела планирования, расчетами занялись все — расчетами, имевшими прямое отношение к ферме. Но легче было принять решение — несравненно труднее провести его в жизнь. К счастью, управляющий помог и здесь; он будто сам подсказал, как при желании можно распоряжаться добром фермы. Всякий знал, что управляющий свобод-

но пользовался продуктами сам и посылал их другим. Так делал управляющий, так делала и его «лейб-гвардия», стоило ли остальным быть излишне щепетильными? И вот жирные гуси, тучные утки, упитанные куры вдруг забастовали — отказались нести яйца. Зная этих добропорядочных птиц, можно было подумать, что это клевета, но в приходе-расходных книгах фермы даже самая придирчивая ревизия не обнаружила бы записей о поступлении яиц. Правда, на рынке еще можно было найти знаменитые яйца с фермы Шухуа — их брали для выведения утят, — но цены подскочили вчетверо. Среди птицеводов поползли слухи: «Яйца и уток с фермы Шухуа можно достать только по знакомству». Стало известно, что это можно сделать через Чжана, Се и Ли.

Вслед за «неурожаем» яиц внезапно отказали птичники, построенные по последнему слову науки. На ферме начали пошаливать хорьки, — что ни ночь исчезали гусь или курица. Случалось, что хорьки разбойничали прямо среди бела дня, а порой так бесчинствовали, что утаскивали телят и ягнят!

Производство цветов, плодов и овощей не сокращалось: работники фермы все же понимали, что, если совсем не работать, самим будет хуже. Отоспавшись после проигрыша, они работали с удвоенной энергией — не для процветания фермы, конечно, а для себя. Но, хотя производство и не сокращалось, доходы фермы были далеко не те. Поговаривали, что на фрукты и овощи напал червь. Перед отправкой на рынок их приходилось выбраковывать, чтобы не пострадала репутация фермы. Непонятно было только, почему забракованные фрукты на вид были крупнее и красивее здоровых и первыми появлялись на рынке. Никто не мог объяснить, в чем тут дело, но всем это нравилось. Прославленная крупнокочанная капуста к моменту погрузки теряла в весе до двух цзиней на каждые три; толстые наружные листья — по слухам, пораженные гусеницей, — срезали, мыли, связывали в пучки и отправляли на продажу как «корм для свиней». Этот корм на рынке ценился очень высоко.

Обо всем этом управляющий Дин, может быть, и знал, но не подавал виду. И когда хорьки безобразничали по ночам, он, даже если в это время не спал и все

отчетливо слышал, естественно, не мог — достоинство не позволяло! — выйти и посмотреть, в чем дело. И только когда ему на утро докладывали, он перебивал:

— Я тоже слышал: сон у меня чуткий!

И если был в особенно хорошем настроении, мог рассказать немало презанятных историй о хорьках и о том, как он чутко спит по ночам. Когда же похищенная хорьком утка или курица, зажаренная или сваренная, появлялась перед ним, он, забыв о хорьках, переходил к разным кулинарным тонкостям и, потчюя кого-нибудь самым жирным куском, говорил:

— Такую жирную утку надо непременно жарить на углях; вареная, она не так вкусна, зато уж бульон — мое почтение! — и большими глотками прихлебывал бульон из чашки.

Когда ему приносили деньги — выручку за «свиной корм» или тому подобное, — он решительно отказывался брать.

— У нас здесь без чинов, все друзья; но управляющий — это все же управляющий, ему не к лицу проедать деньги, полученные за свиной корм! Вот сыграть вечером несколько партий — другое дело! Идет? — И сам себе отвечал: Идет!

После нескольких партий в мацзян по крайней мере восемьдесят процентов денег, полученных за корм для свиней, благополучно перекачевывали в карман управляющего. Небрежно пересчитывая купюры, он скромно говорил:

— Играем мы все почти одинаково, мастеров у нас нет. Вот мой названный брат Сунь Хун-ин, так тот играет раз в месяц — и потом кормится выигрышем полгода. Вот кто умеет играть! Не верите? Предложите ему хоть пост начальника — все равно не соблазнится, а сыграет раз в месяц — и сыт!

Уже в пятнадцать лет Цинь Мяо-чжай называл себя первым талантом в Нинся. Когда ему перевалило за двадцать, он решил, что слово «талант» звучит не совсем современно, и стал именовать себя первым художником в стране. По его словам, он умел ваять, рисовать, играть

на цине* и на фортепьяно, сочинять стихи, рассказы и пьесы, словом, был художником-универсалом. Никому, однако, так и не довелось видеть, как он ваяет, рисует, играет на цине и сочиняет.

В мирное время, когда он сам себя называл художником, а другие повторяли это с его слов, все это не имело большого значения. Но когда началась антияпонская война и для художников и ученых настало время весь свой талант поставить на службу родине, выяснилось, что господину Цинь Мяо-чжаю дать родине нечего. Это бы еще полбеды. Отдайся он всей душой учебе, кто знает, быть может, и у него обнаружился бы какой-нибудь талант, он мог бы научиться рисовать, или писать антияпонские агитки, или на худой конец, распростившись с мечтами о таланте, просто стал бы школьным учителем или служащим — у него и здесь была бы возможность проявить себя. Но он не хотел учиться, не хотел работать, а мечтал жить, порхая, — пустоголовым художником-мотыльком.

Когда началась война, он вступил в художественную агитбригаду, но быстро потерял интерес к ней. Он полагал, что как первый художник страны имеет право на руководящий пост в любой организации. Но в организациях ему не оказывали должного уважения. Ему и другим честолюбцам просто сказали: мы приветствуем всех, кто готов работать для антияпонской войны; а тем, кто думает лишь о карьере, почестях и другой славе, — скатертью дорога, и чем скорее, тем лучше.

Цинь Мяо-чжай предпочел последнее. Но он не собирался складывать оружие. Это временное отступление он объяснял не собственной пустотой и никчемностью, а тем, что его талант слишком уж выделялся среди прочих, тем, что он, Цинь Мяо-чжай, на голову выше всех этих мелких эвистников. Он мечтал, выступив под собственным знаменем, создать какую-нибудь организацию и всласть упиться ролью руководителя. Но и здесь ему не повезло, никто не хотел его слушать. И вот тогда-то, мобилизовав весь свой мыслительный аппарат, он наткнулся на слово «порядочность». Болтая с кем-ни-

* Цинь — струнный музыкальный инструмент типа скрипки.

будь или предаваясь стенаниям наедине с собой, он любил при помощи этого словечка чернить всех и вся, превознося одного себя: «Ради чего, спрашивается, живут все те, кто ныне именует себя художником? Единственно ради денег! А кто по-настоящему разбирается в том, что такое порядочность? — И, указывая кончиком носа на собственную грудь, слегка кивал головой. — А как можно считать порядочными профессоров, если все они состоят на жалованье?..». Но если кто-нибудь спрашивал напрямик его самого: «Ну, а ты на что живешь? У тебя откуда деньги?» — он терялся и мямлил что-то невразумительное — не признаваться же, что папа дал!

Да, отец Цинь Мяо-чжая был богат. Но содержание сына не доставляло ему особого удовольствия. И это было для Цинь Мяо-чжая источником постоянных страданий. Его раздражали нескромные вопросы, он предпочитал не касаться этой щекотливой темы. И когда речь все же заходила о «папе», Цинь Мяо-чжаю так хотелось и его наградить эпитетом «непорядочный»!

Цинь-старший хотел, чтобы Мяо-чжай женился на послушной и благородной девушке и ревностно хранил нажитое добро. Если б только Мяо-чжай сделал так, — а там пусть хоть опиум курит! — немало морщин разгладилось бы на лице старика. Но, казалось, сама природа решила противопоставить друг другу богатого старика и его «талантливого» сына. Мяо-чжай не слушал никаких увещаний. Он хотел писать стихи, рисовать и — что больше всего огорчало старика — не желал сидеть дома.

Отец ничем не мог воздействовать на сына — оставалось лишь по возможности ограничивать его в средствах. Не обращая внимания на простые и экстренные письма и телеграммы с настойчивыми требованиями денег, старик лишь в конце месяца высылал сыну малую толику «на лакомства». К тому времени этих денег уже не хватало на уплату долгов. Нашему поэту приходилось терпеть тяжкий гнет. Зарабатывать самому — для этого у него не было ни желания, ни способностей; не зарабатывать — но этот «непорядочный» папаша был таким прижимистым! Испытывая денежные затруднения, Мяо-чжай в утешение себе мечтал развернуться в искусстве. Но заправки от искусства оказались такими черствы-

ми! И он пал духом. Иногда его просто подмывало броситься, подобно Цюй Юаню *, в реку, утопить себя и свой талант. Но бросаться в реку — дело хлопотное. И он начал подумывать о другом: не стать ли молодым Тао Юань-мином? **. «Уйти от мира — что может быть лучше?» — повторял он про себя. «Мир погряз в пороке — только я еще чист! Мне просто не остается ничего другого!»

Мяо-чжай был высокого роста, длиннолицый. Лэхматые волосы, жесткие, как конская грива, закрывали шею. Передвигался он нескладно, как большой, неуклюжий омар; казалось тело его совсем без костей. Глаза у него были тусклые, и, когда ему хотелось, чтоб на него обратили внимание, он закрывал их на мгновение, словно грезил наяву.

Так, грезя наяву, Цинь Мяо-чжай набрел на ферму Шухуа. То ли ему захотелось полюбоваться пейзажем, то ли он просто устал, но, остановившись перед сосенкой, Мяо-чжай вздохнул и на мгновение закрыл глаза.

Было часов одиннадцать утра. По небу плыли осенние облака, кое-где между ними пробивались неяркие лучи солнца. От земли поднимался еще не рассеявшийся туман. Вода в реке казалась желтой, и лишь местами проступал зеленый цвет. На виноградных лозах краснели последние листья, с чайного дерева опадали цветы. Цинь Мяо-чжай присел на камень у пруда, взглянул на окружающие холмы, реку, цветы, травы, и его охватила тоска. Вспомнился дом, захотелось писать стихи, что-то неясное вставало перед глазами, беря душу...

Ему трудно было разобраться в своих чувствах — они все нахлынули разом, с непонятной силой. Так он сидел долго и наконец нащупал в хаосе чувств что-то такое, что можно было передать словами.

— Я должен остаться здесь! — тихо сказал он себе. Сколько меланхолии было в этих словах! Покинуть родной дом, вызвать неудовольствие отца, одному, без име-

* Цюй Юань — великий китайский поэт IV—III вв. до н. э. Покончил с собой, бросившись в реку.

** Тао Юань-мин значительную часть жизни провел в сельском уединении.

ни, без славы, очутиться здесь, в чужом краю, в этом уединении, поселиться в этих тихих местах!

Цинь Мяо-чжай застывшим взглядом смотрел на больших белых уток, плававших в пруду, на их белоснежные перья, ярко-желтые лапы, плоские, будто наощенные, клювы, и от этого смятение, пустота и тоска в его сердце становились все сильнее. Зачем живут эти утки? Вот и он, Цинь Мяо-чжай, родился с талантом, стремлениями, идеалами, а зачем?.. О, как ненавистен этот мир, отказывающий ему в славе! Как ненавистны даже эти белые утки! Он машинально сорвал с дерева лист, смял, растер, бросил на землю. Да, конечно, он напишет одну, две, несколько статей, покажет этому стаду скотов — художникам, музыкантам, писателям — чего они стоят!

И он направился к зданию конторы, повторяя про себя: «Я им покажу! Здесь, именно здесь я и напишу про них!».

Управляющий Дин только что умылся и причесался. На лице — после очередного ночного выигрыша — цвела улыбка. Он вышел подышать свежим воздухом. В отличном настроении, засунув руки в рукава, подобно поэту, который рвал когда-то хризантемы у восточного плетня*, он не спеша направлялся к воротам.

В воротах его чуть не сбил с ног Цинь Мяо-чжай. Этот мир ему опротивел: не все ли равно, с кем столкнуться — с человеком, деревом или камнем; больно, конечно, но не извиняться же?

Дин неуклюже отскочил в сторону, потом вошел во двор. Человек опытный и ко всему привычный, Дин, спокойно улыбаясь, разглядывал молодого «омара», потом негромко спросил:

— Вам кого?

Цинь Мяо-чжай, опешив на мгновение, молчал.

Управляющий негромко, как бы про себя, сказал:

— Не иначе как художник.

Цинь Мяо-чжай мгновенно наострил уши и, обернувшись, чуть не вскрикнул:

— Что ты сказал?

* Имеется в виду поэт Тао Юань-мин.

Управляющий не знал, угадал он или ошибся... Чуть помедлив, он сказал, улыбаясь:

— Я говорю, что ты не иначе как художник.

— Художник? Художник? — «омар» подшел ближе, его сонные глаза округлились.

Дин, не зная, что отвечать, утвердительно промычал.

На глазах Цинь Мяо-чжай показались слезы, и, брызгая слюной в лицо управляющему, он закричал:

— Да-да, я — художник, но как ты узнал?

И как бы обессилев и теряя сознание, зашатался, нащупал скамейку, сел и прикрыл глаза.

Дин, продолжая улыбаться, но уже недоуменно, направился к нему. Он не успел сделать и нескольких шагов, как глаза Мяо-чжай широко раскрылись.

— Должен тебе сказать, что я не просто художник, а художник на все руки! Я все умею!

Он встал, опираясь правой рукой на плечо управляющего.

— Ты понял меня! Всегда называй меня художником, и я оживу! Те, кто меня породил, — родители, тот, кто меня узнал... — а ты кто?

— Я-то? Всего лишь огородник, — ответил Дин, улыбаясь.

— Огородник?

— Заведую здешней фермой! — управляющий перестал улыбаться и довольно невежливо спросил: — Как тебя зовут?

— Цинь Мяо-чжай, художник Цинь Мяо-чжай. Запомни: слова «художник» и «Цинь Мяо-чжай» надо произносить вместе. Стоит нас отделить друг от друга, и мы — художник и я — оба погибнем!

— О! — насмешливо произнес управляющий.

Они вошли в контору. Дин привычным взглядом окинул стены — там висело несколько картин современных художников. Картины были не из лучших, но и не мазня. Управляющему они нравились — все веселей, чем голые стены. Он даже питал некоторую слабость к этим квадратным эстампам, глашатаям антияпонской войны — на их яркие краски приятно было смотреть. Его взгляд задержался на картинах.

Мяо-чжай тоже заинтересовался картинами. Когда

их краски отчетливо запечатлелись в его сознании, он почувствовал отвращение, будто коснулся чего-то нечистого: по его телу побежали мурашки, выступил холодный пот. Придя в себя, он бросился к картинам и, тыча в них дрожащим пальцем, воскликнул:

— И это живопись? Они позорят искусство, прикрываясь антияпонской войной! Прочь их со стен!

И сорвав со стены картину, он тут же изодрал ее в клочья, швырнул обрывки на пол и начал яростно топтать их ногами, будто втоптывать в грязь всех ненавистных ему художников. Уничтожив картину, он облегченно вздохнул. Дин только ахнул. Мяо-чжай все еще не мог успокоиться и кричал, тыча пальцами в стены:

— Все это хлам! Никуда не годный хлам!

Дин поспешно преградил ему путь, опасаясь, что тот истребит все. Но Мяо-чжай гордо усмехнулся:

— Даже если все изорву — не беда! Я для тебя сам нарисую! Лазурную реку, рыжие холмы, красные цветы, белых уток! На свете столько красивых вещей, зачем же все рисовать, описывать, воспевать одну эту мерзкую антияпонскую войну? Негодяи! Я напишу статью, я разделаюсь с этими скотами, позорящими искусство! А потом создам союз настоящих художников, которые выступают за порядочность и благородство — Союз Благородных. Пусть пока будет так: Искусство Союза Благородных! Надеюсь, ты не против?

— Я? — Дин не знал, что ответить.

— Ну конечно, ты одобряешь! Мы выберем тебя в председатели! А сами будем здесь рисовать, сочинять музыку, писать статьи!

— Здесь? — на лице управляющего появилось легкое беспокойство.

— Да, здесь! Теперь я отсюда не уйду! — изо рта Мяо-чжай летели брызги. — Послушай, уступи мне в аренду это помещение, у отца есть деньги, я заплачу, сколько захочешь. А потом мы, художники, все для тебя бесплатно рассчитаем и распланируем. Превратим эту ферму в прекрасный Дом Художников, в Сад Искусства! Вот будет здорово!

Управляющего вдруг осенило. Повторяя время от времени вслух «ну что ж», «пожалуй», он размышлял и

прикидывал. На прошлом собрании пайщики не выступили против него открыто, но он сам почувствовал их недовольство. Надо исправлять положение, пусть все видят, что он умеет работать. Здешняя контора пуста, и наверху еще три свободные комнаты; почему бы и в самом деле не сдать их в аренду? К тому же эти деньги не нужно заносить в книги; даже если пайщики узнают, кто спросит о таком пустяке? Все вроде бы правильно, только хорошо бы прежде пощупать этого «художника».

— Господин Цинь, это общественное помещение; есть еще три комнаты наверху — сейчас пусты, но могут понадобиться в любую минуту — словом, за все — десять тысяч в год, платит сейчас.

Мяо-чжай прикрыл глаза.

— По рукам! Я телеграфирую отцу.

— А когда переезжаете?

Дина мучило сомнение: победа досталась слишком легко, он явно продешевил. Впрочем, десять тысяч юаней за три комнаты да еще в деревне — не так уж мало. Ладно, сперва надо получить эти десять тысяч, а там видно будет!

— Так когда вы переезжаете?

— Я уже пересхал!

— Как? — Дину стало не по себе. — А багаж?

— Мой багаж — мое искусство!

— А как же деньги?

— На этот счет можешь быть спокоен: я немедленно даю телеграмму!

Так Цинь Мяо-чжай вторгся на ферму Шухуа. Не прошло и двух дней, как второй этаж конторы заполнили его дружки. Мужчины и женщины — старые и молодые — то приезжали, то уезжали, и все были крайне бесцеремонны. Если им требовалась кровать, они тянули к себе первую попавшуюся на глаза кровать; нужен был стол — они, слова не говоря, тащили из конторы письменный стол или чайный столик. А в отношении кур и уток, фруктов и овощей руки у этих гостей оказались подлинней, чем у самого управляющего; то и дело, как ни в чем не бывало, они что-нибудь хватили и с жадностью поглощали. Цветы вырывали с корнями. Работникам фермы пришлось даже выставлять охрану по но-

чам — только так удавалось отобрать хоть часть награбленного!

Но управляющий и работники фермы не тяготились незваными гостями. Во-первых, среди них были женщины, к тому же очень общительные, большие охотницы до шуток. С их появлением на ферме, можно сказать, началась новая жизнь. Во-вторых, игра в кости доставляла Цинь Мяо-чжаю чисто эстетическое наслаждение: он выигрывал и проигрывал с одинаковым удовольствием, мог играть на деньги, и на земляные орехи, и на рис и не вставал с места, не сыграв по крайней мере двадцати четырех партий подряд. Поначалу управляющий считал ниже своего достоинства играть на земляные орехи, но энтузиазм Мяо-чжая вскоре увлек и его.

Управляющего продолжала беспокоить только арсенная плата. Он постоянно размышлял об этом и не забывал при удобном случае намекнуть Мяо-чжаю, что пора бы заплатить. Но Мяо-чжай не понимал намеков. А у Дина уже духу не хватало выставить с фермы Мяо-чжая и его приятелей. Во-первых, он разузнал, что отец Мяо-чжая действительно богат; стало быть, если он в один прекрасный день умрет, Мяо-чжай унаследует состояние. «Надо глядеть дальше!» — частенько поучал Дин сам себя. Во-вторых, когда Мяо-чжая и его дружок начинало томить безделье, они, рассевшись в конторе, принимались болтать об искусстве.

Эти беседы будто нарочно затевались для того, чтобы чернить всех и вся. Друзья поочередно перебивали косточки известным художникам, музыкантам, литераторам, особенно тем, кто все силы отдавал антияпонской войне. Мало-помалу управляющий начал запоминать имена художников. При случае он даже мог рассказать о них парочку анекдотов, как о старых друзьях. Это приводило в изумление его знакомых и доставляло удовольствие самому рассказчику. А когда Мяо-чжай и компании надоедало злословить, они охотно пускались в разговоры о важных персонах, занимающих высокое положение в обществе:

— Да, с ним необходимо поддерживать связь, если мы думаем создать организацию! Я напишу ему; скажу, что все мы — истинно порядочные художники!..

Когда речь заходила о лицах высокопоставленных у всех загорались глаза.

— Председатель! — После разговоров о важных персонах они обращались к управляющему только так. — Председатель, а ты как думаешь?

И управляющему казалось, что он стал на целый вершок выше! Он проникался к этим людям невольной симпатией: ведь они запросто общались с важными персонами и его самого считали важным человеком!.. Дин часто прогуливался по двору рядом с Мяо-чжаем. Казалось, теперь и ему стали понятны невзгоды, выпадающие на долю таланта, и, когда Мяо-чжай вздыхал, Дин сочувственно кивал головой. Они стали неразлучными друзьями.

Дин любил деньги, Цинь Мяо-чжай — славу, и хотя любили они разное, у них было немало общего: и тот и другой не гнушались самыми низкими средствами ради достижения цели. Вот почему Дин нередко делился с Мяо-чжаем своими планами, а Мяо-чжай спокойно выслушивал его.

Не успели оглянуться, как наступил Новый год. Накануне, когда все играли в кости, жандармы схватили в конторе и увезли двух друзей Мяо-чжая. Управляющий сказал, правда: «Ничего особенного», — но все-таки был обеспокоен. Он немало побродил по свету и научился понимать, что к чему. То, что жандармы кого-то арестовали на ферме, было по меньшей мере просто неприлично, не говоря уже о возможных более серьезных последствиях.

Цинь Мяо-чжая все это не волновало. Кто были двое арестованных? Он знал только их имена, об остальном имел довольно смутное представление. Он никогда не допытывался, чем занимаются его знакомые. Достаточно было кому-нибудь вступить за него, назвать художником, и этот человек становился его приятелем. Вот почему у него было множество приятелей и ни одного настоящего друга. Когда тех двоих арестовали, ему и в голову не пришло что-то разузнать о них, не говоря уж о том, чтобы помочь. То, что кого-то арестовали, было такой же мелочью, как пропаша на ферме пары уток. Его даже антияпонская война не волновала — что уж го-

ворить об аресте двух человек! И когда управляющий осторожно расспрашивал его, он равнодушно отвечал:

— Кто их знает! Даже если расстреляют — все равно ничем не поможешь!

Даже Дину стало как-то не по себе. Он ничего не сказал, но стал подумывать, как бы ему отделаться от Мяо-чжая. «Ничего себе тип, жандармов сюда приманил — каково?» — повторял он про себя. В его отношении к Мяо-чжаю появился холодок. Дину на все было наплевать, но в душе его еще сохранилось понягие о дружбе. Теперь он увидел, что в жилах у «художника» течет рыба кровь. Мяо-чжай стал ему противен.

Но Мяо-чжая ничто не волновало, он даже не почувствовал этого охлаждения в отношениях. Он видел лишь себя, не замечая, как к нему относятся другие, всегда был занят собственной персоной — не ему было думать о прочих.

Мало-помалу управляющему удалось разузнать, что те двое подозреваются в измене. Они и вправду не были друзьями Мяо-чжая, только без усталости величали его художником, вот он и пригласил их и даже разрешил поселиться на ферме. Обычно управляющий не обращал на такие вещи внимание, но теперь, когда случилась неприятность, вспомнил о своем положении и о своей ответственности. Он, как и прежде, не говорил Мяо-чжаю прямо: «Я — управляющий, если здесь кто-то собирается поселиться, необходимо сначала доложить мне». Но его отношение к «художнику» стало еще холоднее. Дин явно хотел «выморозить» его с фермы.

В середине января случилось новое событие. Внезапно приехал влиятельный пайщик, находившийся в наилучших отношениях с директором. Управляющий почувствовал недоброе. Во время беседы он начал осторожно, как улитка рожками, прошупывать гостя. Так и есть, пайщик дал понять: наверху недовольны убытками, недовольны тем, что по ферме свободно разгуливают изменники, управляющему придется подать в отставку. Дин не мог отрицать фактов, но и вины за собой не признавал. Он непринужденно болтал и смеялся, стараясь ничем не выдать своего настроения.

Когда пайщик распрощался, управляющий немедленно

но отправился за Цинь Мяо-чжаем. «Цинь Мяо-чжай. — размышлял он, — богатый наследник, барчук, надо как-то вголковать ему, что ему, Дину, приходится теперь отдуваться за него. К тому же этот барчук называет себя литератором, наверное, неплохо пишет и воображения хватает, но мог бы ради управляющего написать пайщикам письмо, сочиненное по всем правилам искусства. Да-да, написать пайщикам от имени всех рабочих и служащих: „Все, как один человек, единогласно просим оставить управляющего Дина на его посту“. Конечно, у Цинь Мяо-чжая рыбаья кровь, но ведь, если я уйду, и ему не сдобровать! Неужели он для меня не постарается?» — рассуждал управляющий Дин, очень довольный своими соображениями, и, подойдя к конторе, крикнул:

— Братец Цинь! Художник!

Цинь Мяо-чжай встрепенулся и неуклюже выпрямился, готовый к схватке. Мир слишком долго был равнодушен к нему, и ему не терпелось пустить в ход кулаки — не важно, ради кого или ради чего.

— Да мы скорее собственными руками спалим ферму дотла, чем отступим! — Мяо-чжай брызгал слюной в лицо управляющему. Можно было подумать, что это он выстроил ферму.

Лицо управляющего раскраснелось от волнения. Он раскаивался, что недавно был так холоден с Цинь Мяо-чжаем, и геперь, стараясь загладить вину, то и дело называл Мяо-чжая «художником». К концу разговора они сдружились, как близнецы. Мяо-чжай решил окончательно покорить друга:

— Мы сейчас же выставим посты, на берегу реки — тоже. Если они и вправду посмеют прислать нового управляющего, пусть он катится туда, откуда пришел!

И тут же Мяо-чжай созвал всех рабочих и служащих на митинг. Сорок минут Мяо-чжай ораторствовал, взобравшись на камень перед конторой.

После этой речи он стал героем фермы. Управляющий был взволнован. Рабочие и служащие говорили:

— Этот Цинь — настоящий товарищ!

Они, конечно, понимали, что едва ли у Циня есть какой-то определенный план действий. Но Мяо-чжай мог

взволновать и взбаламутить любого, и всех охватил азарт. Теперь Циня ставили даже выше самого управляющего: конечно, Дин держал в своих руках власть и был человеком незаурядным, но действовал он прежде всего в личных интересах, Циня же ничто не связывало с фермой: просто человек, как говорится, увидел мимоходом беспорядок и, схватив меч, бросился на помощь. Вольготная жизнь на ферме, кража яиц и прочие мелкие делишки Циня сразу стали в глазах обитателей фермы поступками высоконравственными, а Цинь превратился в безупречного героя, человека, всеми любимого и уважаемого.

Управляющему пришлось дней на десять отлучиться с фермы: он объезжал в городе жен и своячениц пайщиков, чтобы как-то поправить дела. О ферме он не беспокоился: Мяо-чжай сумеет всех сплотить, едва ли кто осмелится поднять бунт против управляющего. Мяо-чжай был теперь в глазах Дина духовной твердыней! Вернувшись из города, управляющий отправился к Мяо-чжаю. Они не расставались, все время о чем-то беседовали, смеялись. При виде их у всех становилось легче на душе, кое-кто даже кричал:

— Победа за нами!

Разграбление фермы достигло апогея. Особенно отличались те, кто кричал «Победа за нами!». По жадности и вороватости они превосходили крабов. Но и те, кто не так уверены были в победе, тоже хватали все, что попадало под руку, действуя по принципу «после нас хоть потоп». В такие времена, когда все летит к чертовой матери, серп утащишь — и то хорошо!

Переломным моментом для управляющего мог стать старый Новый год *. Дин продолжал держать себя в руках и, только выпив, стал жаловаться на судьбу. «Пустяки!» — так он всегда начинал, чтобы придать себе храбрости. Кровь быстрее побежала по жилам, но вдруг его бросило в пот. Он вспомнил, что месяц назад забыл послать новогодний подарок госпоже Чжан — су-

* Имеется в виду китайский Новый год, отмечаемый по лунному календарю; приходится на конец зимы — начало весны (конец января — февраль по европейскому календарю).

пруге пайщика Чжана! Дин на мгновение оцепенел, потом сказал про себя: «Люди — всегда люди; поддерживал бы как следует связи — никаких не было бы трудностей!» Хмель постепенно овладевал управляющим, ему вспомнился то Чжан Третий, то Ли Четвертый; и он повторял «Люди — всегда люди!»

Прошел и старый Новый год, а перемен по-прежнему не было. Дин успокоился. Новый год отпраздновали кое-как — теперь можно было и наверстать упущенное, и вплоть до праздника Фонарей на ферме не прекращались игра и попойки.

Наутро после праздника в восемь часов было еще темно. Плотный туман закрыл рощи на холмах и окутал низины. Окна были будто задернуты черными занавесками. Накрапывал мелкий дождь; иногда ветер относил капли в сторону и создавалось впечатление, что они не знают, куда упасть. Когда капли падали прямо, туман казался еще плотнее. Цветы и деревья поникли, в тумане виднелись лишь их черные тени. Никто на ферме не хотел всгавать, все словно погрузились в сон.

После сильных туманов обычно быстро проясняется. Часов в десять туман стал оранжевым, там, где он становился реже, проглядывало ярко-красное солнце, и капли воды на листьях сверкали, как крохотные золотистые жемчужины. Люди пробуждались ото сна. Цзинь Мяо-чжай поднялся первым и обошел двор. Проходя мимо арки из тростника, он заметил на каменной тропинке троих. Впереди шла женщина небольшого роста, похожая на луковицу — столько платьев было надето на ней; она двигалась медленно, с трудом. За ней шел носильщик средних лет, он тащил два старых чемодана: один — побольше, другой — поменьше — и солидный узел с постелью. По лицу носильщика текли струйки пота. Позади шел молодой высокий мужчина с непокрытой головой, длинными волосами, без пальто, в поношенном европейском костюме; плечи его слегка выдавались вперед, спина чуть горбилась. Он нес старый фарфоровый умывальный таз.

Цинь Мяо-чжай поначалу решил, что это кто-нибудь из его друзей, и поджидал их у арки. Когда люди подошли ближе, Мяо-чжай увидел, что это чужие. Он все

еще стоял на месте, желая внимательнее рассмотреть женщину — она его особенно заинтересовала. Молодой человек, казалось, устал; он хотел пройти вперед, но дорожка была узкой, да еще носильщик загоразивал ее ношей. Чтобы обойти его, мужчина хотел пройти по траве, поставил было ногу и тут же отдернул ее, будто боясь наступить на травинки. Дойдя до арки, женщина вздохнула и остановилась. Остановился и носильщик. Молодой человек огляделся, потом протиснулся вперед. Туман, закрывавший солнце, поредел, солнечные лучи ярко осветили тонкие черты лица незнакомца. Видимо, на долю этого человека выпало немало невзгод: лицо его пересекало несколько морщин, появившихся лет на десять раньше времени. Он хотел передать таз женщине, а та не желала его брать — что-то проворчала и отдернула руки. Наверное, ей хотелось похвалить здешние места, но радость ее тут же угасла. Солнце снова скрылось в тумане, и лица незнакомцев опять стали темными.

Женщина была не очень красива, но необычные глаза ее невольно обращали на себя внимание. В них отражалась какая-то тоска — казалось, женщине довелось пережить что-то ужасное — разорение, гибель детей или возлюбленного — таким неподвижным был этот взгляд; она могла пристально смотреть на что-нибудь и переводила взгляд только для того, чтобы тут же надолго остановить его на чем-нибудь другом. При этом казалось, что она ничего не видит. Когда она останавливала на вас взгляд, можно было подумать, что она изливает перед вами всю душу и потому не в силах отвести глаз. Но стоило ей перевести взгляд, и вы чувствовали, что она вас даже не видит. Взгляд ее вызывал беспокойство, страх и в то же время чем-то притягивал к себе. Маленькое, круглое, с правильными чертами личико, было вполне заурядным. И только когда она пристально смотрела на вас, вы могли почувствовать в ней красоту и даже скрытый жар.

Сейчас она, чуть повернув голову, смотрела на Цинь Мяо-чжая. А тот, приятно возбужденный, приняв красивейшую из своих поз, прислонился к арке и смотрел на женщину.

— Ну так как? — носильщик уже проявлял нетерпение. — Пойдем или не пойдем?

— Пошли, Мин-ся! — сказал мужчина. Голос его был бесцветным и невыразительным.

— Зачем? — довольно невежливо спросил Мяо-чжай, не сводя глаз с Мин-ся.

— Я здешний управляющий, — сказал мужчина, входя в ворота.

— Что-о-о? Управляющий? — Мяо-чжай преградил им путь. — Нашего управляющего зовут Дин.

— А меня — Ю, — мужчина, как ни в чем не бывало, отодвинул Мяо-чжая с дороги и продолжал путь. — Я новый управляющий, меня назначил директор.

Цинь Мяо-чжай струсил, на мгновение закрыл глаза, потом широко раскрыл их и, как побитая собака, бросился бежать по тропинке к конторе.

— Дин, Дин, — неистово кричал он, — Дин, старина!

Управляющий, накинув теплый халат, спускался по лестнице, вытирая лицо горячим дымящимся полотенцем.

— Нового управляющего прислали!

— Что? — Дин перестал вытирать лицо. — Нового управляющего?

— Немедленно объявить общий сбор! Пусть катится туда, откуда пришел! — и Мяо-чжай кинулся к двери.

Управляющий отбросил полотенце, подобрал полы халата и в два прыжка догнал Мяо-чжая.

— Подожди! Иди наверх, я сам знаю, что делать!

Мяо-чжай продолжал рваться на улицу. Дину пришлось силой втолкнуть его в комнату.

Застегнувшись на все пуговицы, управляющий степенно и торжественно вышел во двор. Открыв ворота, он столкнулся с новым управляющим. Лицо Дина расцвело в улыбке, он церемонно поклонился господину Ю:

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! Приветствуем нового управляющего! А это, — он так же церемонно поклонился Мин-ся и, не дожидаясь ответа управляющего Ю, доверительно закончил, — госпожа управляющая?

Дин тут же приказал носильщику отнести вещи в дом и пригласил супругов посмотреть, хорошо ли их

расположили. Он даже не спросил носильщика, сколько ему полагается за труд, а сунул несколько бумажек — ровно на пять мао больше условленной платы.

Ю хотел расспросить Дина о положении на ферме, но тот принялся хлопотать, велел принести кипятку и воды для умывания, приказал работникам подмести в комнатах, не давая новому управляющему раскрыть рта. Затем он стал обхаживать Мин-ся, го и дело почтительно к ней обращаясь и развлекая ее болтовней. Ю несколько раз пытался начать разговор, но Мин-ся каждый раз его останавливала. Воспользовавшись тем, что Дин У-юань отлучился на минутку, она стала упрекать мужа:

— Чего ты так спешишь? Успеешь наговориться о своих делах, времени хватит, ведь не сегодня же ты вступишь к работе.

На другой день с утра управляющий Ю в рабочем комбинезоне обошел вместе с десятником всю ферму, заглянул в каждый уголок и все записал в книжечку. Вернувшись, он попросил Дина ускорить передачу дел. Дин обещал все закончить в три дня. Мин-ся опять пришла ему на помощь, и три дня превратились в шесть.

Управляющий Ю — его звали Да-син — учился агрономии в Англии. Окончив институт, Да-син остался в нем преподавателем. Он был способен, упорен, трудолюбив. Когда он делал опыты, его большие руки становились искусными, ловкими и точными, как у вышивальщицы, а там, где требовалась сила, он был сильным и выносливым, как бык. В Англии ему нравилось: он знал, что на родине его прямота и серьезное отношение к делу придут в непримиримое столкновение с ненавистными ему лицемерием и ленью. Но весть об антияпонской войне разнеслась по всему миру, и он вернулся. Ю Да-син понимал важность сельского хозяйства и хотел — на ферме или в опытной лаборатории — отдать стране свои силы и знания.

Вернувшись на родину, он начал подумывать о женитьбе. Женитьба в его представлении была шагом необходимым и разумным. Женившись, он мог целиком отдаться работе, наслаждаясь здоровьем и душевным покоем. Любовь, на его взгляд, была лишь трагой сил, тогда как брак избавлял от множества хлопот, рядом с

ним все прочее казалось второстепенным, не заслуживающим внимания. Его познакомили с Мин-ся, и он женился. Это был разумный шаг, но он оказался ошибкой.

Мин-ся выросла в богатой семье. Но Ю Да-сину нужна была Мин-ся, на деньги он не обращал внимания. Она была не очень красива, но Да-сину требовалась жена-помощница, красота ее не имела значения. У Мин-ся был в прошлом неудачный роман, она даже хотела покончить с собой; но ее прошлое не интересовало Да-сина. У нее не было никаких способностей, но Да-син считал, что их нет и у большинства женщин; женившись, он на собственном примере научит ее труду и терпению, будет воспитывать ее, руководить ею; лишь бы она не устраивала сцен. Все остальное неважно. И он женился.

Мин-ся согласилась на этот брак с радостью. Не потому, что Да-син был идеальным мужем — он не водил ее в рестораны, не дарил цветов, — но Да-син мог заглядеть ее прошлое. Любовник бросил ее, как бросают в мусорную кучу скомканную бумагу. Теперь у нее появился муж, и она могла ходить по улицам с поднятой головой.

Ее радость была непродолжительной: вскоре Мин-ся навечно похоронила ее в сундуке вместе с брачной фатой. Она не любила Да-сина. Его жадность к работе, равнодушие к деньгам, неумение держать себя должным образом в обществе гетушек и своячениц — все это заставляло ее страдать. Но, когда супругам случалось идти вместе по улице, она прижималась к нему тесней, как утопающий, готовый жадно схватиться за соломинку. Что бы там ни было, муж был знаменем, прикрывающим ее прошлое, она не могла швырнуть это знамя на землю!

Трудолюбие, честность и прямота Да-сина всюду создавали ему недоброжелателей. Само слово «ученый», такое дорогое для Да-сина, у людей, с которыми он сталкивался, мало-помалу превращалось в презрительное прозвище. Замышляя выпивку или еще что-нибудь неподобающее, они всегда делали это втихомолку от «ученого».

Мин-ся все больше презирала мужа. Сначала она пробовала устраивать ему сцены. Потом убедилась, что

ее истерики на него не действуют, он был какой-то бесчувственный: она бесновалась, а он, как ни в чем не бывало, продолжал работать. И только когда она утирала последнюю слезинку, он оборачивался и спрашивал: «Тебе приготовить чего-нибудь?». Ей хотелось, чтобы он поцеловал ее или сказал несколько ласковых слов, он же только трепал ее по щеке. Он никогда не спрашивал, почему она капризничает и чего хочет, а только рассказывал ей про свою работу. Работа и наука были его жизнью, и для любви в этой жизни места не оставалось. Иногда во время очередного скандала и он украдкой смахивал слезу, но Мин-ся видела, что это не из любви или сочувствия к ней, — просто он досадует, что ему мешают работать. Только когда она заболела, он стал похож на любящего мужа, заботливо и внимательно, будто ставил опыт, ухаживал за ней. Он даже садился у ее постели и, взяв Мин-ся за руку, что-нибудь ей рассказывал. Но все его рассказы были о науке. Мин-ся они не интересовали. Когда же врач объявил, что кризис миновал, Да-син тут же отправился работать. Врач был ученым, он не мог ошибиться. Да-сину даже в голову не пришло, что не вполне выздоровевший человек по-прежнему нуждался в заботе и ласке.

Жена не любила Да-сина, но и уйти от него не могла. Время от времени она застывала на месте, устремив вперед остановившийся взгляд.

Теперь она приехала с Да-сином на ферму Шухуа. Ей смертельно надоела эта кочевая жизнь, когда приходилось перетаскивать вещи и носить в руках умывальный таз. Мин-ся мечтала о собственном уютном доме. Она не могла не следовать за мужем, но ей бы хотелось задержаться на одном месте подольше, а часто приходилось уезжать уже через десять-пятнадцать дней. Она плохо разбиралась в людях, не знала, кто прав, кто виноват, но ей хотелось решительно вмешаться в дела мужа, чтобы он больше ни с кем не ссорился. На этот раз она должна постараться как-то смягчить неприятное впечатление от его резкости и упрямства, чтобы люди, хотя бы ради нее, прощали Ю Да-сину его промахи. Поэтому Мин-ся сразу же вступилась за Дин У-юаня, а еще решила по примеру соседей завести у себя на дворе

домашнюю птицу — чтобы не выделяться среди других.

Первый, с кем поссорился управляющий Ю, был Цинь Мяо-чжай. Он не имел права жить здесь, и новый управляющий тут же погребовал освободить помещение. Цинь Мяо-чжайу нечего было сказать в свое оправдание, но он все же стал спорить. Больше всего его возмущало то, что новый управляющий ни разу не догадался назвать его художником. После такого оскорбления он уже не мог уехать! «Поживем — увидим, еще посмотрим, кто уедет первым!»

Управляющий Ю знал одно: необходимо соблюдать законы. После возвращения на родину ему пришлось вытерпеть немало несправедливостей, но с таким нахальством он встретился впервые. Он вспылал, хотел вызвать полицию. Тогда за Мяо-чжай вступилась Мин-ся:

— К чему спешить? Когда сможет, тогда и уедет.

Мяо-чжай и Дин У-юань устроили тайное совещание. Мяо-чжай был настроен воинственно, Дин У-юань более миролюбиво, но после непримиримых речей Мяо-чжай тоже стал склоняться к войне. Он похвалил Мяо-чжай за храбрость, назвал его художником-героем. Мяо-чжай ликовал.

Однако Дин У-юань не собирался лично вступать в схватку с управляющим. Он решил втравить Мяо-чжай в войну с Ю Да-сином, чтобы затем выступить в роли миротворца. Что же касается своих собственных дел, то ему следует сперва посоветоваться с Мин-ся или же попросить ее стать посредницей. Он избегал открытого столкновения с управляющим. При встрече с Да-сином на лице Дина всегда играла улыбка, которой нельзя было не верить; Дину нетрудно было подыскать себе другую работу, но он знал, что не так-то просто найти другую ферму, где жилось бы так привольно, а доходы были бы такими высокими. Поэтому лучше потерпеть. Если Мяо-чжай и работники фермы в один прекрасный день избыют управляющего, можно будет, воспользовавшись этим, вернуться на прежнюю должность. Даже если не удастся вернуться сразу, можно подбить Мин-ся и жен пайщиков и при их поддержке стать заместителем управляющего, а затем и управляющим: Дин не

сомневался в успехе этого плана, надо только уметь ждать. И, оставив на ферме в качестве западни для управляющего Мяо-чжая и Мин-ся, он уехал в город.

Управляющий Ю с нетерпением ждал, когда Дин У-юань передаст дела; он собирался все распланировать по-новому. Но Дин У-юань уехал в город. Управляющий был раздражен. Он хотел отрабатывать деньги, которые получал; халтуру и волокиту он ненавидел больше всего. Он уже готов был вспылить, но в этот момент Мин-ся опять застыла с остановившимся взглядом. После долгого молчания она сказала:

— К чему горячиться? Господин Дин тебя не обманет, он вернется через два дня.

Да-син сумел подавить в себе гнев и с головой ушел в работу. Прежде всего он вывесил извещение: «Всем на ферме вставать в половине седьмого, с семи приступать к работе, а заканчивать ее в пять. В половине десятого вечера гасить огни до утра, запирают ворота». В конторе появилось объявление: «Присутственное место, посторонним проживать воспрещается». Потом он перенес сюда свой письменный стол — отныне все служащие работали под его наблюдением. В конторе было запрещено курить, жажду разрешалось утолять только кипятком*.

Сам управляющий показывал пример остальным: когда стенные часы отбивали семь ударов, он в комбинезоне стоял у дверей конторы, поджидая остальных. Раньше других явилась дин-у-юаневская «гвардия»: они знали, что ни на что не годны, и не будучи уверенными в возвращении покровителя старались вести себя примерно. Свою никчемность они пытались прикрыть пунктуальностью. Кое-кто из рабочих нарочно опоздал: подстрекаемые Цинь Мяо-чжаем, они искали ссоры с новым управляющим.

Ю Да-син терпеливо ждал. Когда все явились, он не стал сердиться и без лишних слов четко распределил работу; имена он еще помнил плохо, но глаз у него был наметанный: он сразу отличил опытных работников от дармоедов. Дармоедов он собирался рассчитать всех поголовно, а пока что каждому из них тоже дал работу.

* В Китае жажду утоляют не холодной водой, а кипятком.

«Сегодня вы не будете даром есть хлеб», — говорил он про себя.

— Вы втроем, — он указал на троих работников, — пойдете подрезать виноградные плети. Если не подрезать — к следующему урожаю не будет винограда. Все закончить в два дня.

— А как это подрезать? — один из рабочих решил притвориться непокидающим.

— Я объясню! Я буду подрезать вместе с вами!

Затем Ю да-син дал задания опытным работникам:

— Вы втроем обмажете плодовые деревья известкой: там, где надо ободрать кору, обдерете, там, где надо надрезать, сделайте надрезы, когда вернусь, все объясню подробно. Сделать за три дня. Вы вдвоем пойдете удобрять огороды. Вы втроем будете прореживать цветы...

Потом, когда очередь дошла до нахлебников:

— Вы вдвоем пойдете таскать песок, вы будете вдвоем носить воду, вы двое уберете на скотном дворе...

Нахлебники разинули рты. Эта работа была им по плечу, но такая тяжелая, такая грязная! Они оглядывались по сторонам, как бы надеясь увидеть полное, сияющее лицо их спасителя Дин У-юаня. И тихо молили: «Возвращайся поскорей! Из нас уже сделали рабов!».

Опытные рабочие понимали, что приказы нового управляющего правильны. Правда, некоторые из способов, которые он предлагал, отличались от известных им, но малый явно разбирался в деле. Когда же управляющий принялся вместе с ними за работу, они увидели, что он настоящий специалист. Управляющий умел все разъяснить просто и понятно, в нескольких словах. Невозможно было придираться ни к его познаниям, ни к его добросовестности. Если бы рабочие захотели научиться у него новым приемам, овладеть с его помощью новыми знаниями, они бы не нашли лучшего учителя. Но Дин У-юань успел их развратить. Их руки тянулись к гладкой поверхности игорных столов, их рты помнили вкус вина; они уже отвыкли от серпов и садовых ножей, от свежего, холодного воздуха полей.

Но теперь приходилось работать, потому что управляющий постоянно был рядом. С виноградников он бежал в сад, от цветочных делянок — в огород. Он никого

не распекал. не выходил из себя, но язык у него оказался острый — даже обиженные невольно восхищались. Во время работы невозможно было урвать свободную минутку, глаза управляющего были такими же быстрыми, как и его ноги: только работники соберутся передохнуть, он уже тут как тут, интересуется, почему они отлынивают от работы. Что они могли ответить? Пить захотелось? Воду еще с утра привезли. Целый бак кипятку. Захотелось покурить? Для этого существует определенное время. Возразить нечего... Оставалось, затаив раздражение, работать, не разгибая спины.

Некоторые надеялись, что ночью можно будет, как прежде, отправиться на поиски куриных яиц. Но управляющий учредил для нахлебников ночные дежурства.

— Достаточно мне пощупать курицу или утку, и я уже знаю, когда она снесется, и уже примерно представляю себе, сколько яиц можно собрать за сутки; будете дежурить по ночам: пропадут яйца, ответите сами! — распорядился управляющий.

И эта лазейка оказалась закрытой!

Спустя несколько дней жизнь на ферме более или менее установилась. Перевоспитать рабочих оказалось не так уж трудно. Они не любили управляющего, но уважали его. Когда же их жизнь несколько упорядочилась, их нелюбовь к управляющему как-то сама собой уменьшилась, а уважение возросло. Они понимали, что работать и жить надо именно так...

Управляющий обещал месяца через три повисить жалованье, если все будут продолжать трудиться, как сейчас. Он заявил также, что тогда он сможет больше заниматься исследовательской работой, а это принесет пользу государству и нации. Слова «государство» и «нация» всех растрогали.

Работникам фермы тоже захотелось приобрести какие-нибудь специальные знания, и управляющий обещал дважды в неделю по вечерам проводить занятия по садоводству. Он задумал также выделить помещение для клуба. Сердца людей постепенно расцветали, как цветы во дворе.

Но дорога ввысь — самая трудная. Как часто мелкие, низменные чувства губят возвышенные замыслы разума!

Ведь чувства так легко выходят из-под его контроля! Как-то раз Цинь Мяо-чжай, возвращаясь на ферму, обнаружил, что ворота заперты. Они запирались ровно в половине десятого вечера, и управляющий ни для кого не делал исключения. Мяо-чжай переполошил криками всех гусей и кур, всех коров и свец, но ворота не отпирались. Тогда он, словно обезьяна, вскарабкался на столб, подпиравший ворота, но, спускаясь, сорвался и сломал ногу; кое-как он дотащился до конторы — она тоже была на замке. Он долго кричал, пока Мин-ся не сжалась и не впустила его.

Из разъяснений управляющего всем было известно, что Мяо-чжай не имеет права здесь жить и что строгое соблюдение дисциплины — основа порядка. Все это знали, но в душе каждый чувствовал, что Мяо-чжай — свой парень, а управляющий — чужак, да к тому же еще — начальство. Мяо-чжай напоминал им недавние привольные денечки, и бессердечие управляющего вызвало общее возмущение. Один за другим навещали Мяо-чжайя сочувствующие, а он, не теряя времени, подливал масла в огонь и обзывал Ю Да-сина последними словами. Он кипел от негодования:

— Если хотите жить спокойно, выкиньте отсюда этого гада! Только — что с вами разговаривать — вы же трусы! Но погодите, заживет нога, я сам его проучу!

Возбужденные до предела, все теперь ждали первого промаха Ю Да-сина, чтобы рассчитаться с ним.

По настроению рабочих управляющий почувствовал, что происходит что-то неладное, но совесть его была чиста, и он никого не боялся. Никакие угрозы не заставят его отступить. Ради науки и будущего страны он готов был на все.

Как-то ночью, во время дежурства Лю, управляющий, перед тем как лечь спать, обходил двор и увидел, как Лю пытался припрятать два куриных яйца. На такие дела нельзя было смотреть сквозь пальцы. Управляющий допросил Лю.

Лю ухмыльнулся:

— Это для госпожи Ю!

— Для госпожи Ю?

Да-сиз, казалось, не мог сообразить, что Мин-

ся — это и есть госпожа Ю. Он оцепенел. А сообразив, опрометью бросился домой.

Мин-ся готовилась ко сну. Ее желтоватое округлое лицо, как всегда, ничего не выражало; сидя на краю постели, она безучастно смотрела в противоположную стенку.

— Мин-ся! — задыхаясь крикнул Да-син. — Мин-ся, ты воруюшь яйца?

Она медленно отвела взгляд от стены, посмотрела на расшитые цветами носки своих домашних туфель, потом на мужа.

— Ты воруюшь яйца?

— О!

В ее слабом возгласе послышался легкий протест.

— Зачем?

Лицо Да-сина пылало.

— Ты, ты везде всех против себя восстанавливаешь, а я не могу так! Я ворую яйца только ради тебя!

Ее лицо слегка порозовело.

— Ради меня?

— Ради тебя! — Лицо ее порозовело сильнее, будто от удовольствия. — Ты очень строг с людьми, не позволяешь тронуть ни деревца, ни травинки. Они хотят тебя избить! Ради тебя я и ворую, по их примеру, — чтоб они хоть со мной-то не враждовали! Ведь только тогда я и смогу замолвить за тебя слово, разве не так? Сам подумай! Я уже набрала три десятка крупных яиц!

И она с гордостью вытащила из-под кровати корзину.

Ю Да-син уже не мог стоять. Лицо его побелело. Он нащупал табуретку, сел, руки на коленях слегка дрожали. Он просидел долго, не говоря ни слова.

Наугро двор и улица были увешаны плакатами, написанными рукой Мяо-чжая: «Долой бессовестного Ю Да-сина!», «Верните нам управляющего Дина!», «Вон мерзавца, крадущего яйца!», «Долой фашистского приспешника!», «Смерть негодю, не уважающему искусству!»...

Все бросили работу, требуя, чтобы управляющий Ю всенародно признался в краже яиц и после этого подал в отставку. В противном случае ему угрожали оружием.

Да-син не испугался угроз и готов был выступить. Мин-ся вцепилась в его одежду, а потом, улучив момент, выскользнула из комнаты и заперла дверь.

— Что ты делаешь? — закричал Да-син. — Открой! Мин-ся молча сбежала вниз по лестнице.

Дин У-юань возвращался из города, выхлопотав пост заместителя управляющего. Он шел по каменной тропинке и изумлялся при виде подрезанных виноградных лоз и выбеленных известкой стволов:

— До чего здорово подрезали плети, корни и те выкопали! И деревья мелом обмазали, надо же!

У ворот он увидел первый плакат. На пятаках Дина сразу будто пружины выросли; торопливо, легким, стремительным шагом он направился к конторе; сердце билось радостно; он напевал один из лозунгов на мотив известной арии. Надежды его сбывались.

— Не думал, что так быстро! Ну и молодчина этот Мяо-чжай! Уж я его напою как следует! — повторял он, продолжая мурлыкать песенку.

Едва Дин вошел во двор, как его окружили: «гвардия» чуть не плакала от радости. Все встретили его, как родного брата после долгой разлуки, тянули к себе, хватали за одежду, хлопали по плечу — вокруг образовался живой клубок; каждый хотел дотронуться до Дина, будто его одежда была одеянием живого бодисатвы*, одно прикосновение к которому осеяет благодатью. Все заговорили разом, спеша излить свои обиды. В сплошном гуле нельзя было разобрать ни слова. Дин каждому старался кивнуть, каждого одаривал ласковым взглядом, его сухлые горячие пальцы прикасались то к одному, то к другому. Он был растроган, все были доросли ему, всех он любил как родных. Лицо его сияло, глаза увлажнились. Когда он поднял руку, все сразу замолкли.

— Друзья, я должен сначала немного отдохнуть: потом обо всем потолкуем. Не надо волноваться, мы решим, что делать, вопрос ясен!

Все закричали наперебой:

— Пусть управляющий Дин сперва отдохнет!

— Дайте дорогу!

* Бодисатва — одно из воплощений Будды.

— Тише!

— Пускай управляющий отдохнет!

Одни неотступно следовали за ним по пятам, другие глядели вслед, кивали, восхищенно вздыхая.

Дин У-юань вошел в контору, он хотел прежде всего увидеть Мяо-чжая. Но у дверей его поджидала Мин-ся.

— Господин Дин! — тихо и быстро позвала она. — Господин Дин!

— Госпожа Ю! Как ваше здоровье?

— Господин Дин! — ее маленькая рука комкала крошечный пестрый платочек. — Что же делать? Что делать?

— Успокойтесь, госпожа Ю! Пустяки, пустяки! Садитесь, пожалуйста! — он указал на стул.

Мин-ся, как провинившаяся девочка, послушно села. Ее маленькая рука все еще нервно комкала платочек.

— Только не говорите ничего, дайте мне подумать! — сказал Дин У-юань и, заложив руки за спину, молча сделал несколько быстрых шагов. — Положение серьезное, но мы найдем выход.

И снова, взявшись за щеку, в глубокой задумчивости, он сделал несколько шагов.

Мин-ся, не выдержав, встала и торопливо спросила:

— Они в самом деле хотят избить Да-сина?

— В самом деле! — сурово ответил заместитель управляющего.

— Но что же делать? Что же делать?

Скомканным платком Мин-ся вытерла нос и уголки рта.

— Выход есть! — Дин У-юань тяжело опустился на стул. — Садитесь, госпожа Ю, я вам расскажу! Не будем говорить о том, кто прав, кто виноват, кто хорош, кто плох, прежде всего надо найти выход из создавшегося положения, не так ли?

Мин-ся опять послушно села и сказала:

— Конечно, конечно!

— Пусть госпожа Ю скажет, правильно ли будет, если мы сделаем вот так...

— Все, что вы предлагаете, всегда правильно!

— ...Если мы сделаем вот так: передачу дел приостановим — пусть с сегодняшнего дня управляющий Ю по-

ручит все дела мне, ему самому не нужно будет больше затруднять себя.

— Правильно! Он всегда слишком много занимается делами!

— Именно! Пусть он напишет директору письмо: скажет, что нездоров, и просит, чтоб я заменил его.

— Но он же не болен, и потом он не любит лгать!

— Придется солгать! Для его же пользы, теперь у него нет другого выхода! Да и кто узнает?

— Хорошо, хорошо!

— Так-то вот. И пусть просит, чтоб я заменил его на два месяца, — а там подаст в отставку — без единого пятнышка, с незамазанной репутацией!

Мин-ся встала:

— Он должен подать в отставку?

— У него нет другого выхода!

— Но...

— Послушайте меня, госпожа Ю! — Дин У-юань тоже встал. — Эти два месяца вы будете по-прежнему получать жалованье, будете по-прежнему жить здесь, за это время он без труда подыщет работу. За два месяца, за шестьдесят дней. не найти работы?

«Опять переезжать?» — сказала Мин-ся самой себе, и слезы потекли из ее глаз. Она надолго застыла в оцепенении, потом тяжело вздохнула и с трудом произнесла:

— Ну что ж! Пусть будет так!

И Мин-ся побежала на второй этаж. Когда она открыла дверь, ноги ее подкосились и она опустилась на пол. Ю Да-син, уложив вещи, с умывальным тазом в руках, сидел на краю постели.

Они долго молчали, потом он помог ей подняться:

— Прости меня, Ся! Но нам надо уходить!

На дворе не было ни души, о них уже забыли, все бросились резать кур и уток, собираясь чествовать управляющего Дина. Неся на себе вещи, опустив голову, Ю Да-син вышел за ворота. Он не решался взглянуть на цветы и деревья — боялся заплакать. Мин-ся, надев на себя все свои платья, медленно шла позади, в одной руке она несла корзинку с яйцами, другой — вытирала слезы.

...Ферма Шухуа вернулась к старым порядкам, и все вздохнули с облегчением. Разноцветные плакаты, висевшие во дворе, управляющий Дин изодрал в клочья, уничтожив последнюю память о Ю Да-сине.

Вскоре управляющий сдал Мяо-чжая околоточному, а освободившееся помещение уступил в аренду за пятнадцать тысяч на известных условиях — деньги вперед сполна.

Настало лето. Винограда и фруктов по сравнению с прошлым годом уродилось вчетверо больше — казалось, лишь они и помнили заботу и ласку Ю Да-сина. И чем больше было фруктов, тем больше убытков приносила ферма.

СОЮЗ

— Даже если у мужчин нет никаких других достоинств, храбрости у них больше, чем у женщин, — сказал Тянь-и своей любимой, которая мужчин и в грош не ставила.

Но та лишь хмыкнула...

— Хотя сам Тянь-и не отличается смелостью, говорит он правильно, — поддержал Цзы-цзин. — Мужчины — по крайней мере большинство из них — смелее женщин. Ты ведь боишься привидений, Юй-чунь? А я не боюсь, специально выбираю темные закоулки!

Юй-чунь снова презрительно хмыкнула.

Оба ухаживали за ней, в письмах называли ее своим «розовокрылым ангелом», но она даже в лучшие минуты удастаивала их лишь хмыканьем.

Увидев, что Цзы-цзин оказался в таком же положении, как и он, Тянь-и чуть не взорвался от удовольствия

— Да, я боюсь привидений! А кто однажды спрятался под одеяло, когда погасла лампа?

— Верно, но у меня не белют губы при виде мыши! — отпарировал Цзы-цзин.

— Кто же в таком случае закричал, заметив на постели куриное перо?

— А кто...

с кривой шеей — чем страшнее, тем лучше. Думаешь, она
дет новые доказательства своей смелости, приказала:
— Убирайтесь-ка отсюда!

Кавалеры поняли, что нужно подчиниться. Разом
улыбнулись, разом встали, разом поклонились и вышли.

За воротами соперники тотчас превратились в дру-
зей.

— Надо бы вернуться, восстановить свой пре-
стиж, — сказал Тянь-и. — Может быть, заберем на
крышу ее дома, покажем, что у мужчин от высоты не
кружится голова?

— А если закружится и мы свалимся? — усомнился
Цзы-цзин. — Ведь это будет еще большим позором!

— В самом деле. К тому же на нас новые костюмы,
каждый по шестьдесят с лишним юаней... — Тянь-и уви-
дел, что его брюки отглажены лучше, чем у Цзы-цзина,
и раздумал лезть на крышу. — Что же делать?

— Давай не будем ходить к ней три дня, — предло-
жил Цзы-цзин. — На третий день вечером придем, толь-
ко порознь и притворимся, будто все это время не ви-
делись. Ты спросишь, где я пропадал. Я навру, что в
жену моего двоюродного брата вселился бес, и я его
изгонял. Потом я спрошу, где ты пропадал. Ты скажешь,
что в доме твоих родителей бесчинствовала лиса-оборо-
тень — даже чашки, тазы и кувшины летали по воз-
духу — и что тебе пришлось ее ловить. Ну, каков мой
план?

— Неплох, но и не очень хорош, — заметил Тянь-и. —
Прежде всего меня беспокоит, что ты тайком от меня
отправишься к ней. Так будет несправедливо!

— Об этом можно условиться. Давай договоримся
ухаживать за Юй-чунь* открыто, искать победы в чест-
ном бою — тогда победа эга будет особенно желанна! —
пылко заявил Цзы-цзин.

— Ладно. Как ты думаешь, она поверит нашему
вранью?

— Это я тоже предусмотрел, — ответил Цзы-цзин. —
Я только что сказал, что мы пойдем к ней вечером. А по-
чему? Потому, что вечерами женщины особенно трус-
ливы. Мы будем наперебой говорить о разных бесах:
с маленькими глазами, с огромными, с бычьей головой.

с кривой шеей — чем страшнее, тем лучше. Думаешь, она не испугается? А когда испугается, мы станем прощаться, и она начнет упрашивать нас посидеть еще немного. Тут-то она и проиграла. Спустя некоторое время один из нас встанет и скажет: «Ох, совсем забыл, ведь мне надо еще за город пойти. Правда, по дороге несколько кладбищ, но это пустяки — я любое привидение в ключья разорву!». С этими словами он уйдет, а оставшийся сочинит историю, будто ему надо идти на похороны или что-нибудь в этом роде. Встречаемся в переулке...

— Думаешь, поверит?

— А какое это имеет значение? — ухмыльнулся Цзы-цзин. — Главное, что мы ночью в одиночку ходим, не то что женщины. Пусть она не поверит ни в приведения, ни в похороны, но все равно проникнется к нам уважением!

— Правильно! Осталось только еще одно: если мы надолго исчезнем, это будет на руку Сяо Ли. Разве ты не знаешь, что хмыканье, которого он удостоивается, гораздо мягче предназначающегося нам?

На этот раз Цзы-цзин задумался всерьез, но затем все-таки нашел решение:

— Ты пойми, Тянь-и, в любви человек должен быть то мягким, то твердым, то приближаться, то отдаляться. Постоянная привязанность иногда может наскучить, любимая перестанет уважать тебя. И, напротив, если время от времени давать ей отдых от себя, можно поручиться, что при новом свидании она взглянет на тебя другими глазами. Человеку, который долго не был в кино, покажется интересной даже дрянная картина. Вот и тут: если мы исчезнем на три дня, а Сяо Ли будет продолжать ее посещать, это уменьшит его ценность и увеличит нашу. Давай условимся: ты купишь Юй-чунь фруктов, а я цветов; оба пострижемся, побреемся, наденем новые костюмы. Будет невероятно, если на этот раз мы не огшвырнем Сяо Ли на целые десять ли!

— Верно! — поддакнул Тянь-и.

— Это только начало, есть еще и другие способы, — продолжал Цзы-цзин. Он явно воодушевился, и слова лились из него потоком. — Мы можем дать Сяо Ли открытый бой, если встретим его там. А я думаю, что

встретим. Мы можем, как ни в чем не бывало, спросить его: «Сяо Ли, не хочешь ли прогуляться по кладбищу?». Или: «Не хочешь ли пойти со мной на похороны?». Он наверняка откажется и окончательно уронит себя в ее глазах.

— А если он не спасует и согласится идти с нами, что тогда делать? — сказал Тянь-и.

— Невозможно! Он не так глуп, чтобы ночью гулять по кладбищам. Он будет рад выпроводить нас и посидеть еще, но это только усилит ее неприязнь к нему. К тому же он незнаком с нашими родственниками и не захочет таскать чужие трупы. Нет, он, конечно, не пойдет, и тогда мы победили, потому что у женщин душа гонкая, они всегда стремятся смотреть на возлюбленных беспристрастно, а потом выбирают самого подходящего — самого подходящего, а не самого лучшего, это ты должен понять. Я думаю, незачем говорить, что Сяо Ли красивее нас.

— Увы! — шумно вздохнул Тянь-и.

— Но красота — это еще не все, — победоносно рассмеялся Цзы-цзин, — не каждая женщина захотела бы замуж даже за доктора Мэя *. Сяо Ли приятен на вид, но труслив, а значит, неподходящ. Женщины не любят женоподобных мужчин; только чахоточная Линь Дай-юй могла полюбить глупого неженку Бао-юй **, но даже Бао-юй был крепче своей возлюбленной, не правда ли? Как видишь, мой план безошибочен. А когда мы низвергнем Сяо Ли, померимся силами между собой!

Тянь-и взглянул на свои сжатые кулаки и, убедившись, что они отнюдь не больше, чем у Цзы-цзина, почувствовал некоторое разочарование.

Сяо Ли действительно был у нее.

Цзы-цзин пришел первым и преподнес букет алых сверкающих росинками роз. На его лице было гораздо больше крема «Снежинка», чем у Сяо Ли. Она поманила его пальцем, но не издала ни звука.

* Доктор Мэй — знаменитый китайский актер Мэй Лань-фан.

** Цзя Бао-юй и Линь Дай-юй — центральные герои романа Цао Сюэ-цзиня (XVIII в.) «Сон в красном тереме», своего рода Ромео и Джульетта.

Тут же вошел Тянь-и с корзинкой грушевых консервов в английской упаковке. Его волосы блестели на двадцать свечей ярче, чем у Сяо Ли. Принят он был так же, как Цзы-цзин.

— А, Сяо Ли! — хором воскликнули оба. — Не пора ли тебе сменить галстук?

Взгляд Юй-чунь метнулся к воротничку Сяо Ли, и в сердцах у друзей приятно зашекетало.

— Давно не виделись, Тянь-и! Слишком уж ты заработался. Получил диплом и возгордился. Неужели тебе так хочется сдать экзамен, чтобы поехать учиться за границу? — затянул Цзы-цзин.

— Да нет, не в этом дело! — вздохнул Тянь-и. — Дома лиса-оборотень появилась!

— Ох! — лицо Цзы-цзина вытянулось от ужаса.

— Если у тебя дома оборотень, зачем ты сюда бегаешь? — проворчала Юй-чунь. — Прекратите об этом, неинтересно!

Первая пушка Тянь-и не выстрелила, и в его лагере началась паника.

— Навернос, ты уже прогнал оборотня? — помог Цзы-цзин. — В самом деле, не рассказывай слишком страшное. Я-то не боюсь, но не знаю, как Сяо Ли.

— Да, я не люблю по вечерам слушать страшные истории, — ответил Сяо Ли.

Цзы-цзин бросил взгляд на приятеля.

— А ты где пропадал, Цзы-цзин? — заученно спросил Тянь-и.

— Тот же страшная история, поэтому вряд ли стоит рассказывать: боюсь, Сяо Ли испугается. В доме двоюродного брата объявился большеголовый бес, и я...

Юй-чунь заткнула пальцами уши.

— О, простите, не буду продолжать! — радостно извинился Цзы-цзин.

Сяо Ли поднялся и стал прощаться.

— Может быть, мы тоже пойдем? — спросил Тянь-и, испуганно глядя на Цзы-цзина.

— Куда ты? — заинтересовался Цзы-цзин.

— Дядя умер, надо хоронить, все-таки я самый смелый в семье. А ты куда?

— За город. Правда, дорога идет через кладбища.

но души висельников мне нипочем. — Цзы-цзин повернулся к Сяо Ли. — Не хотите ли со мной прогуляться? На могилах горят зеленые огоньки, очень красиво!

Сяо Ли мотнул головой и повторил этот жест, когда Тянь-и пригласил его принять участие в похоронах.

Цзы-цзин остался с девушкой.

— Всем хорош Сяо Ли, — сказал он, улыбнувшись, — только вот труслив. Нет в нем мужского начала. Говорят, нехорошо осуждать человека за глаза, но я надеюсь, что вы меня извините, мы ведь добрые друзья.

— Да, он не очень храбр, — признала Юй-чунь.

— Плохо, когда у мужчины не хватает смелости! — сочувственно вздохнул Цзы-цзин.

— А когда у мужчины не хватает правдивости, если он только приговоряется храбрым, еще хуже! — ответила девушка, глядя в потолок.

Недоброе предчувствие мелькнуло у Цзы-цзина.

— Скажите, пожалуйста, Тянь-и, чтобы он пореже приходил сюда. Я не хочу есть его консервов и тем более не хочу слушать о лисах-оборотнях!

— Обязательно скажу. В следующий раз я не возьму его с собой.

— И вас прошу приходить пореже. Я не желаю, чтобы моего Сяо Ли пугали какими-то большеголовыми бесами или советовали ему сменить галстук. Интересно, для чего существую я? К тому же, красивый человек не нуждается в украшениях. Я не люблю, когда у мужчин волосы блестят, как электрическая лампа!

На следующее утро Тянь-и помчался к Цзы-цзину, считая, что они победили Сяо Ли, — ведь Юй-чунь признала его трусливым. Но Цзы-цзина не было в общестии, он лег в больницу.

Цзы-цзин был несравненно здоровее большинства окружающих, лицо его адело, словно после стакана бренди, но он лег в больницу, мечтая, что к нему придет Юй-чунь. Если она навестит его с букетом свежих цветов, значит все-таки думает о нем и тогда можно будет надеяться на что-то... Но она не появлялась! И он... он начал радоваться ее холодности, потому что мысли его уже были заняты другой.

Букет свежих цветов ему принес Тянь-и вместе с корзиной фруктов и пачкой любовных рыцарских романов. Цзы-цзин был благодарен своему закадычному другу, но вовсе не хотел, чтобы тот приходил часто. Дело в том, что глаза посетителя неотступно следили за молоденькой медсестрой, на которую перебрались сейчас мысли Цзы-цзина. Вот почему его не печалила жестокость Юй-чунь, а беспокоило усердие приятеля. Только цветы и фрукты удерживали его от ссоры с Тянь-и.

— Не стоит вспоминать об этой Юй-чунь. У меня просто времени нет ухаживать за ней, — сказал Цзы-цзин, посылая розовокрылого ангела в опалу.

— К тому же у нее нос некрасивый, — присоединился к нему Тянь-и.

— Только и умеет хмыкать, как будто нос не для дыхания создан!

— Что уж! А на этом носу еще черные точки! Если бы не пудра, он был бы похож на мундштук из пятистого бамбука!

— Уши — как веера!

— Она их специально волосами закрывает.

— А верхняя губа какая толстая!

— Нижняя не тоньше. И вообще ее рот похож на старый бисквит с начинкой. Даром не стал бы целовать!..

Тянь-и все никак не мог уйти, и, чтобы выпроводить друга, Цзы-цзин притворился, будто ему пора принимать лекарства. Ангел, о котором они сейчас думали, был не розовокрылым, а похожим на яшмовую бабочку: в белой шапочке, белом халате, белых туфельках. Уши его не имели ничего общего с веерами, нос — с бамбуковым мундштуком, губы — со старым бисквитом... Из халата выглядывали руки, напоминающие стебли лотоса в теплом источнике: свежие, белые и сладкие. Это, так сказать, статичные определения, а динамичных можно подобрать еще больше: все ее тело было живым, красивым, мягким, чистым. Она улыбалась, обнажая ряд мелких, продолговатых жемчужин. В то время, когда она старалась по лбу определить температуру, ее можно было беспрепятственно разглядывать. Затем белые пальчики, подрагивая, словно усики цикады, писали несколько иероглифов в маленькой белой тетрадке. Если ты заде-

вал за «стебель лотоса», она не только не сердилась, но даже усмехалась, подносила лекарство к твоим губам и, глядя в лицо, спрашивала, не нужно ли тебе еще чегонибудь. Цзы-цзин не хотел выписываться из больницы. Тянь-и тоже решил перебраться туда, чтобы провести профилактику аппендицита. К счастью, их никто не мог выгнать, потому что здоровые лежали в больнице за собственные средства.

Но пока Тянь-и приходил по три раза в день, и Цзы-цзин уже не знал, куда девать цветы и фрукты. Цзы-цзин перепробовал все процедуры, в которых должна была участвовать медсестра: переливание крови, просвечивание рентгеном, промывание желудка. С каждым разом она казалась ему еще очаровательнее: неизменно приветливая, аккуратная, веселая. То же чувство испытывал Тянь-и, успевший разузнать и адрес, и возраст, и всю родословную медсестры. Правда, знатной ее назвать было нельзя, но «голубой яшмой из хорошего семейства» * — безусловно. Цзы-цзин хотел пригласить ее в кино и страдал, оттого что вынужден прикидываться больным. Тянь-и собирался повести ее в кафе и каждый день ждал возле больницы, однако ни разу не встретил.

— Как ты думаешь, — заговорил как-то Цзы-цзин, — что на свете самое отвратительное?

— По-моему, лежать в больнице здоровым! — раздраженно ответил Тянь-и.

— Нет. Срывать цветок любви, найденный другим!

— Тебе не нравится, что я прихожу?!

— Совершенно верно. Фруктов у меня уже хватит, чтобы открыть лавку. Да и тебе надо отдохнуть несколько дней.

— Хорошо, фруктов я больше носить не стану, но навещать тебя все-таки буду. Впрочем, если ты не желаешь меня видеть, я могу приходить прямо к ней. Может быть, приглашу ее прогуляться, точно еще не знаю!

Эти слова поразили Цзы-цзина.

— Ну ладно, приходи. Зачем сердиться? — натя-

* Традиционная метафора для девушек из небогатых домов.

нуто улыбнулся он. -- Наверное, нам на роду написано быть и друзьями и соперниками.

— Выходит, тебе тоже приглянулась маленькая Сю-чжэнь? -- полюбопытствовал Тянь-и.

— Естественно, иначе я не знал бы ее имени!

— Чтобы выяснить его, нужно иметь кое-какие способности! — съязвил Тянь-и.

— Во всяком случае меньшие, чем для переливания крови, при котором она поддерживает тебя. Смотри: одна ее ручка надавила вот сюда, а другая как всадит... Я даже сомлел весь!

От умиления и ярости у Тянь-и слюни потекли. Если бы приятель не лежал в больнице, он избил бы его и выкачал всю кровь, которую влила в него сестра! Надувшись, он вышел, решив больше не являться.

Но он пришел. И, что самое интересное, Цзы-цзин встретил его радостно:

— Я ведь говорил тебе вчера, Тянь-и, что нам на роду написано быть друзьями. Нам снова следует со-грудничать.

— Что случилось? -- изумленно и растерянно спросил Тянь-и.

— Подойди! — Цзы-цзин понизил голос. — Вчера вечером я видел, как ее целовал молодой врач, который меня лечит!

— О! — побагровел Тянь-и. — Что же делать?

— Вновь создать единый фронт. Сначала победим врача, а потом поговорим.

— Опять прожекты? Откровенно говоря, я потерял к ним интерес. В прошлый раз...

— Не вспоминай! Впрочем, это был урок, и именно он поможет нам чувствовать себя уверенно сейчас. Почему мы потерпели тогда поражение?

— Из-за нечестности, из-за того, что притворялись смелыми.

— Правильно! Подойди-ка, я кое-что шепну тебе на ухо.

Дальше раздалось только невнятное бормотание.

В половине восьмого Сю-чжэнь обычно приносила лекарство: полтаблетки аспирина и стакан воды. А Тянь-и пришел в двадцать пять минут восьмого.

Улыбающаяся медсестра протянула ему руку — горячую и крепкую. Цзы-цзин, с завистью глядя на них, тоже пожал ей руку. Она снова улыбкулась.

— Тянь-и, ты сегодня плохо выглядишь. Что с тобой? — озабоченно спросил Цзы-цзин.

— А ты не трус, Цзы-цзин? Я боюсь испугать тебя.

— Поскольку людям всегда следует говорить правду, признаюсь, что я не очень смел. Но ведь ты жив, так что бояться нечего. Рассказывай!

— Откровенно говоря, я тоже трусоват, но дело не в этом. Ты помнишь моего двоюродного брата? Врач. красивый такой...

— Помню. С большими глазами, врач... Так что же он?

— Язык не поворачивается, — вздохнул Тянь-и. — Человека зарезал!

— О! — Цзы-цзин испуганно уставился на медсестру.

— Он ведь врач. Так вот, ночью, в неизменяемом состоянии, он препарировал собственную жену.

Губы Тянь-и побелели.

— Выходит, девушкам ни в коем случае нельзя выходить замуж за врачей! — обратился Цзы-цзин к медсестре. — Тот, кто привык к операциям, может в любую минуту произвести опыт над своими близкими. Это не шутки!

— Ужас! — дрожащим голосом продолжал Тянь-и. — Разрезал ее на восемь кусков. О небо! Извините, барышня, что я рассказываю вам на ночь такие страшные истории!

— А я не боюсь, — мило улыбкулась Сю-чжэнь. — Мне часто приходится видеть мертвецов. Нас, медсестер, отличает от остальных женщин именно сравнительно спокойное отношение к трупам и крови. Боимся мы только врачей, поэтому и уважаем их.

— Ну, а моего двоюродного брата? Ведь он жену зарезал! — воскликнул Тянь-и.

— Это случилось только потому, что его жена не медсестра. Я бы каждый вечер давала ему чего-нибудь для улучшения пищеварения, и его не преследовали бы кошмары.

— Сю-чжэнь! — крикнул молодой врач, перешагнув порог. — Когда заканчивается твое дежурство? Жду тебя внизу!

— Постой. Иди сюда, послушай интересную историю, — позвала Сю-чжэнь. — Один доктор во сне препарировал жену.

— Ничего нет удивительного! Медсестры тоже часто убивают мужей. Трусу не следует жениться на медичке, а то пои первой же ссоре она его отравит, чтобы попрактиковаться на трупе. Или по крайней мере каждый день бить будет. Малодушный мужчина и храбрая женщина не могут жить вместе. Пойдем в кино, Сю-чжэнь!

— До свиданья! — протянула девушка и, взяв молодого врача за руку, убежала.

Цзы-цзин выписался из больницы.

— Чем ты занимаешься? — спросил навестивший его Тянь-и.

— Читаю о психологии женщин. Интересная книжка! — с прежним оптимизмом ответил Цзы-цзин.

— Плохой ты друг. Один читаешь.

— Почему один? Присаживайся, почитаем вместе. Вот увидишь, когда кончим эту книжку, победы нам обеспечены! Одного боюсь — любовного четырехугольника. И тебе его надо бояться. Мы каждый раз из-за него пресигрывали.

— Лучше начать с третьей главы — «Любовный треугольник».

— Ладно. Наверное, у нас появятся шансы только тогда, когда из союзников мы превратимся в соперников. Не правда ли?

— Пожалуй.

ГОСПОДИН В БРИДЖАХ

Поезд еще не отправился с Восточного пекинского вокзала, когда господин в очках, лежавший на верхней полке моего купе (он был в бриджах, мягких хромовых сапогах и синей шелковой гимнастерке, из кармана которой торчала маленькая кисточка для письма), приветливо спросил:

— Вы тоже в Пекине сели?

Я был несколько озадачен: поезд формировался в Пекине, где же еще я мог сесть в него? Мне оставалось лишь ответить столь же любезным вопросом:

— А вы где сели?

Я надеялся, что он скажет «в Ханькоу» или «в Суйюани». «Наверное, я отстал от жизни, и китайские поезда уже не ходят по рельсам, а порхают по воздуху. Как это хорошо и удобно».

Но он промолчал. Оглядев остальные полки, он гаркнул во всю глотку (но, должно быть, еще не в полную силу своих легких):

— Проводник!

Проводник в это время, сбиваясь с ног, таскал вещи пассажиров и помогал им разыскивать свои места, но, услышав крик, он тотчас прибежал.

— Принеси матрац! — приказал господин в бриджах.

— Подождите минутку, — вежливо ответил проводник, — как только поезд тронется, я вам постелю.

Пассажир в бриджах поковырял пальцем в носу и ничего не сказал. Но едва проводник отошел на два шага, как по вагону прокатился новый вопль:

— Проводник!

Проводник молниеносно повернулся.

— Принеси подушку! — господин в бриджах, казалось, уже согласился, что с матрацем можно подождать, но подушка ему нужна была немедленно.

— Сударь, прошу вас, подождите немного! Закончится посадка, сразу принесу вам и матрац и подушку! — быстро, но по-прежнему миролюбиво сказал проводник. Видя, что пассажир в бриджах не реагирует на его слова, он повернулся и хотел было уйти, как по вагону вновь загрохотало громоподобное:

— Проводник!

Проводник чуть не свалился от испуга, но тут же выпрямился и встал перед полкой.

— Принеси чаю!

— Подождите самую малость, сударь! Поезд тронется, и я сразу подам вам чаю.

Лицо господина в бриджах снова осталось невозмутимым. Проводник заискивающе улыбнулся и стал мед-

ленно поворачиваться, опасаясь нового окрика. Но не успел он тронуться с места. как за его спиной опять раздалось:

— Проводник!

То ли проводник притворился, что не слышит, то ли в самом деле был оглушен воплями пассажира, но только на этот раз он не повернулся и быстро вышел из купе.

— Проводник! Проводник! Проводник! — орал господин в бриджах.

Провожающие вбежали в вагон, думая, что в поезде пожар или по крайней мере совершено убийство. Но проводник по-прежнему не появлялся.

Господин в бриджах снова поковырял в носу, сел на мою полку и завизжал:

— Проводник!

Никого. Господин в бриджах взглянул на свои колени и стал медленно наклонять лицо вперед. Когда он достиг самой низшей точки, какой только мог, голова внезапно дернулась и приняла прежнее положение.

— Вы едете во втором классе? — спросил он меня.

Я снова опешил: может быть, я сел не на свое место?

— А вы? — осведомился я.

— Во втором. Это второй класс. Во втором есть спальные полки. Скоро отправимся? Проводник!

Я взял газету.

Господин в бриджах встал. пересчитал свои вещи — восемь мест; которыми была завалена другая верхняя полка. Он занял обе верхние. Дважды пересчитав вещи, он обратился ко мне:

— А где ваши вещи?

Я промолчал, и, по-видимому, напрасно, так как вслед за этим он сочувственно произнес:

— Проклятый проводник! Почему он не принес ваших вещей?!

Больше молчать было невозможно.

— У меня нет вещей.

— Как?! — он чуть не подпрыгнул от возмущения, будто ехать в поезде без вещей было величайшей крамолой. — Знал бы я это заранее, четыре чемодана можно было бы не сдавать в багаж!

«И очень хорошо, что не знал, — подумал я, — а то

принес бы еще четыре сундука, негде спать было бы!»

В купе вошел новый пассажир, занявший другую нижнюю полку. У него тоже не было вещей, только тонкая кожаная папка.

— Если бы я знал, что вы оба едете без вещей, я даже гроб мог бы не сдавать в багаж! — простонал господин в бриджах.

При этих словах я дал обет в следующее путешествие без вещей не отправляться: еще чего доброго и в самом деле заставят спать рядом с гробом. Какой ужас!

По коридору прошел проводник.

— Проводник! Принеси полотенце!

— Подождите, — ответил проводник, по-видимому, решив не поддаваться.

Господин в бриджах развязал галстук, снял воротничок и повесил каждый предмет на отдельный крючок; его шляпа и пыльник висели на остальных двух крючках.

Поезд тронулся, и неугомонный пассажир вспомнил, что нужно купить газету.

— Проводник!

Проводник не появлялся.

Я дал господину в бриджах свою газету: это была идея моей изнемогшей барабанной перепонки.

Пассажир вскарабкался на верхнюю полку и стал снимать над моей головой сапоги, сколачивая при этом с подошв засохшую грязь. Затем положил под голову саквояж, накрыл физиономию моей газетой и захрапел — хотя поезд еще не прошел заставы Юндинмынь*.

Я вздохнул спокойнее.

Поезд приближался к Фынтаю**, когда сверху снова раздалось:

— Проводник!

Впрочем, на этот раз вопль не повторился. Наверное, пассажир кричал во сне.

После остановки в Фынтае проводник принес в купе два горячих чайника. Мы с соседом — сорокалетним человеком с мясистым лицом — пили чай и болтали. Внезапно сверху снова грянуло:

* Юндинмынь — ворота во внешней городской стене Пекина

** Фынтай — станция под Пекином

— Проводник!

Проводник показался в дверях с отчаянным выражением лица.

— Что угодно, господин?

— Принеси чаю.

— Двух чайников вам мало? — указал на стол проводник.

— Дай еще чайник наверх!

— Хорошо!

Проводник вышел.

— Проводник!

Брови проводника затопорщились: казалось, будто с них сейчас начнут слетать волоски.

— Не надо чаю! Дай чайник крутого кипятку!

— Хорошо!

— Проводник!

Я стал бояться за брови проводника: как бы они не облысели.

— Принеси матрац, подушку, полотенце, чай...

Казалось, он не мог придумать, чего ему еще нужно.

— Подождите, сударь. В Тяньцзинь еще будет садиться народ. Проедем Тяньцзинь, тогда сразу и разберемся во всем. Не беспокойтесь, дадим вам постель! — одним духом выпалил проводник и вышел так стремительно, словно решил никогда больше не возвращаться.

Когда спустя некоторое время проводник принес кипяток, господин в бриджах уже погрузился в сон. Его сопение было чуть-чуть тише воплей «Проводник!» и звучало более равномерно и продолжительно. Изредка его храп слегка приглушался скрежетом зубов.

— Вот ваш кипяток, господин!

— Проводник!

— Я здесь, принес вам кипяток.

— Принеси туалетную бумагу!

— Она в туалете.

— А где туалет?

— В обоих концах.

— Проводник!

— Сейчас вернусь.

— Проводник!! Проводник!! Проводник!!

Ответа не последовало.

— Ффу, ффу, ффу, — снова затынул господин в бриджах.

В Тяньцзинне к нам подсели еще несколько пассажиров. Господин в бриджах проснулся и стал пить воду из носика чайника. Затем снова принялся выколачивать над моей головой сапоги. Надев их, он соскользнул с полки, поковырял в носу и устремил взгляд в окно.

— Проводник!

Проводник как раз проходил мимо дверей нашего купе.

— Принеси матрац!

— Сейчас!

Господин в бриджах вышел из купе и встал среди коридора, мешая пассажирам и носильщикам. Затем, ковырнув в носу, он стремительно направился в тамбур. Сошел с поезда, пощупал груши — не купил. Воззрился на форменную одежду носильщиков. Снова поднялся в вагон и обратился ко мне:

— Это Тяньцзинь? А?

Я не ответил.

— Надо спросить, — сказал он сам себе, и воздух немедленно прорезал дикий крик:

— Проводник!

— Да, да. Это Тяньцзинь, — поспешно сказал я, раскаиваясь. — Вы не ошиблись.

— Все время приходится звать проводника! Проводник!

Сдерживаться больше не было сил, и я засмеялся.

Поезд отошел от тяньцзиньской платформы. Едва вагон тронулся, проводник принес господину в бриджах — первому из всех — матрац, подушку и полотенце. Примерно с четверть часа господин прогирал чистым полотенцем уши, а затем смахнул им пыль со своих чемоданов.

По моим подсчетам, за десять с небольшим минут, пока поезд шел от главной тяньцзиньской станции до товарной, господин звал проводника не менее пятидесяти раз. Проводник пришел только один раз, и господин в бриджах спросил его, в какую сторону света идет поезд.

— Не знаю! — ответил проводник.

Это заставило господина в бриджах внести предложе-

ние, чтобы в поезде кто-нибудь обязательно знал стороны света, а проводник по требованию пассажиров справлялся бы об этом у того человека.

Тогда проводник буркнул, что даже машинист и гот, наверное, не знает, где восток, а где запад.

Лицо господина в бриджах искажилось:

— Так поезд может заблудиться?!

Проводник ничего не ответил, но число волосков в его бровях заметно уменьшилось.

Пассажир в бриджах снова заснул. На этот раз, перед тем как улечься, он тряс над моей головой только носки...

Меня, понятно, мучила бессоница; я уже давно понял, что без специальных наушников, задерживающих храп, пытаться уснуть бесполезно. Мне было жаль пассажиров, которые ехали в соседних кунах: они наверняка мечтали сладко вздремнуть, а пришлось пролежать всю ночь с раскрытыми глазами...

Я должен был сходить на станции Дочжоу. Мы подъехали к ней уже на рассвете. Благодарение небу и земле!

Поезд стоял здесь полчаса. Я нанял пролетку и поспешил в гору. В ушах моих не утихал вопль «Проводник!»

А взъерошенные брови проводника я вспоминал более недели.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. <i>А. А. Файнгар</i>	5
Удачный почин. <i>Перевод В. Т. Сухорукова</i>	11
Разящее копье. <i>Перевод А. А. Файнгара</i>	20
Последняя монета. <i>Перевод М. Е. Шнейдера</i>	29
Поезд. <i>Перевод А. А. Файнгара</i>	43
Старая фирма. <i>Перевод В. Т. Сухорукова</i>	56
Простая причина. <i>Перевод В. Т. Сухорукова</i>	64
Союз. <i>Перевод В. И. Семанова</i>	102
Господин в бриджах. <i>Перевод В. И. Семанова</i>	112

70422

Лао Шэ

ПОСЛЕДНЯЯ МОНЕТА

Рассказы

*Утверждено к печати
Ученым советом Института народов Азии
Академии наук СССР*

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2

3-я типография издательства «Наука»
Москва К-45, Б. Кисельный пер.,

22707



Цена 28 коп.